



МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
В ИЗУЧЕНИИ
ИМПЕРИИ И НАЦИОНАЛИЗМА

**Коллектив авторов
Александр Семенов
Илья Герасимов
Марина Могильнер**

**Мифы и заблуждения в изучении
империи и национализма (сборник)**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3084175

*Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма: Новое издательство; М.; 2010
ISBN 978-5-98379-139-8*

Аннотация

Сборник «Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма» включает в себя тексты, написанные авторитетными современными социологами, историками и политологами, и позволяет ознакомиться с новыми подходами к изучению имперской проблематики и национализма в диапазоне от постколониальных исследований до сравнительной истории мировых империй.

Содержание

Введение	4
Осмысление нации в социальных науках	8
Исследования империи в свете критической теории национализма	12
I	15
Ханс Кон	15
1	15
2	20
3	22
4	26
5	28
Роджерс Брубейкер	34
1	36
2	42
3	46
4	49
5	52
6	57
Заключение	60
Роджерс Брубейкер	61
Роджерс Брубейкер, Фредерик Купер	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Коллектив авторов

Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма

Введение

В поисках ясности в исторической природе национализма и империи

Что такое нация? Если основываться на этимологии и первоначальном значении латинского слова *natio* (общность по рождению, происхождению), ответ будет один; если посмотреть на современное употребление слова *nation* в европейских языках – совсем другой. А если обратиться за разъяснениями к политологам, социологам, историкам и специалистам по исследованию национализма, то всякая ясность и определенность пропадут окончательно. Это связано как с разницей в теоретических подходах разных групп исследователей, так и с тем, что сам термин «нация» является частью живого политического языка современности, языка переговоров и борьбы, утверждения и оспаривания политических и социальных претензий. Поэтому в различных ситуациях он принимает различные значения. Научные дискуссии о нации и национализме на русском языке осложняются, во-первых, унаследованным от советских времен примордиалистским пониманием природы национального¹, а во-вторых, полной неразберихой в переводной терминологии и литературе, без которой было не обойтись в начале постсоветской научной дискуссии о национализме и которая сваливалась на головы читателей в последние два десятилетия, наподобие пестрых загогулин в «Тетрисе». Каждый русскоязычный читатель, включая специалистов по национальной проблематике, вынужден сам организовывать интертекстуальное пространство, которое складывалось в условиях одновременного и бессистемного появления текстов Эрнеста Ренана 1880-х годов и Бенедикта Андерсона 1980-х, Ханса Кона 1920-х и Эрнеста Геллнера 1960-х, 1980-х и 1990-х годов... В результате возникают химерические конструкты, склеенные из обрывков разных текстов и научных традиций, которые не позволяют поддерживать общую дискуссию из-за крайней идеосинкратичности индивидуальных интерпретаций.

Представляемая вниманию читателей антология не является попыткой предложить некую «верную» трактовку проблемы нации или реконструировать историю ее изучения за последние полтора столетия. Эта книга включает в себя тексты, в которых авторы размышляют над подходами и терминологией в области изучения национализма и империи. Сверхзадача настоящей антологии состоит в том, чтобы показать, какие тексты и в каком проблемном контексте актуальны сегодня для историков, социологов и политологов, формирующих и развивающих направление «исследований национализма».

Собранные статьи переводились и публиковались на протяжении 2000-х годов в журнале *Ab Imperio*. Этот журнал является, вероятно, единственным российским научным периодическим изданием, которое не только формально интегрировано в структуры мирового обществоведения (журнал аффилирован с Американской ассоциацией содействия славянским исследованиям и включен в международные индексы цитирования), но и играет роль одного из лидеров международного научного процесса в своей области. Для постоянной

¹ Об этом много и убедительно писал В.А. Тишков: *Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии*. М., 2003.

журнальной рубрики «Методология» были отобраны тексты, в которых предлагалась наиболее продуктивная концептуальная рамка для обсуждения различных сюжетов и ситуаций, связанных с нацией и национализмом: будь то проблема социальных границ или исторического времени, войны или экологической политики. Эти тексты не являются иллюстрацией уже знакомого российскому читателю деления теории национализма на модернистское, перенниалистское и конструктивистское направления (примеры этих подходов можно найти в переведенных на русский язык и широко доступных сегодня работах Эрнеста Геллнера, Энтони Смита и Бенедикта Андерсона, а также в ряде обзоров литературы по национализму)². Наш сборник включает в себя исследования, относящиеся к ранней традиции теоретического осмысления национализма (Ханс Кон) и выпавшие из поля зрения издательских коллективов, внимание которых сконцентрировано прежде всего на социологической и политологической ветвях в изучении национализма. Мы также предлагаем российскому читателю почти неизвестные у нас работы таких современных теоретиков, как Билл Ашкрофт, Фредерик Купер и Роджерс Брубейкер, работающих в лингвистически-когнитивном ключе и пересматривающих установившиеся нациецентричные подходы и простую дихотомию постколониальных моделей.

Эти работы имеют принципиальное значение для разрабатываемого журналом *Ab Imperio* направления «новой имперской истории», являющейся одновременно результатом и реакцией на происходящий на наших глазах бурный всплеск имперской и национальной проблематики. В «новой имперской истории» понятие нации не противопоставляется понятию империи – оба они осмысливаются как категории анализа и контекстуализируются. Представленные в сборнике материалы хорошо иллюстрируют пределы абстрактной категоризации понятия империи, которое начинает включать в себя вещи самого разного порядка и теряет аналитическую ценность. Отраженный в статьях антологии опыт деконструкции категории нации дает очень многое для понимания того, как можно и нужно работать с набирающим все большую популярность понятием империи.

В силу традиции политического языка, которая без дополнительной рефлексии принимается современными исследователями, понятие «империя» автоматически подразумевает особый недемократический режим управления и существование «великой державы», которая распространяет свое влияние на обширные территории и удерживает под своим контролем разные народы. В этом образе интуитивно схвачены черты исторического феномена империи, который связан с властью, господством и опытом культурного разнообразия. Однако такое понимание не дает объяснения, почему же национальное государство не может быть влиятельным игроком на международной арене, а режим разделения подданных на «государствообразующую народность» и «инородцев» – политикой национализующегося государства, а не империи? Закономерность подобных вопросов подчеркивает необходимость рассмотрения феноменов империи и национализма не изолированно, а в рамках единой аналитической модели, выявления их диалектической взаимосвязи как понятий и форм осмысления социальной реальности.

Как показывают публикуемые в настоящем сборнике статьи, категория империи принципиальна для критического анализа понятия нации. Можно вспомнить, что критический модернистский и конструктивистский анализ нации и национального государства в работах Эрнеста Геллнера и Бенедикта Андерсона начинался с противопоставления аграрно-письменного, религиозного общества и династического государства, с одной стороны, индустри-

² Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004; Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001; а также: Национализм и формирование нации: Теории модели интерпретации / Под ред. А.И. Миллера. М., 1994; Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999; Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М., 2005.

альному обществу и национальному воображаемому сообществу – с другой. Исторический опыт домодерных и композитных империй был для Геллнера и Андерсона важной отправной точкой, изобличившей кажущуюся естественность и извечность наций и помогавшей увидеть механизмы и исторические силы, их создающие. На этом этапе нация была противопоставлена империи как современная форма социальной и политической организации – архаической. В нации видели результат разложения «феодальной» государственности, основанной на завоевании чужих территорий, и разделения традиционного общества на более современные, культурно однородные и легитимные политические и социальные единицы. Считалось, что с приходом века национализма архаические империи уступают свое место нациям и национальным государствам, которые также могут проводить политику империализма вовне своих национальных и государственных границ.

Новейший этап постколониальных исследований, работы историков-европеистов и американистов существенно скорректировали эту модель. Оказалось, что по крайней мере с XVII века европейские империи играли важную роль в процессе нациестроительства, используя по сути «национальные» практики классификации и гомогенизации населения и проведения экономических и социокультурных границ. В свете современных работ стало понятно, что аналитическое разделение исторического опыта модерных колониальных империй на опыт национального строительства в метрополии и имперский опыт в колониях не является верным описанием исторических реалий хотя бы потому, что колониальная периферия представляла собой необходимый негативный контекст для проведения границ предполагаемого национального сообщества³. Историки, изучавшие Российское государство и общество как особый тип династической и территориально-протяженной империи, вынуждены были признать, что в ее историческом опыте находилось место «западному» колониализму (особенно на Кавказе и в Туркестане)⁴ и приспособлению старых форм имперского режима к вызовам современности⁵. Иными словами, новейшие исследования выявили невозможность локализовать историческую точку перехода из мира империй в мир наций, а равно и некорректность деления исторического опыта на специфически имперский и национальный. Тем самым появилась возможность осмыслить империю и нацию не как воплощенные в реальности политические и социальные явления, а как категории анализа, которые позволяют описывать отличные векторы исторического процесса и диспозиции исторических сил⁶. Если один вектор связан с производством, воспроизводством и инструментализацией многообразия, то другой – с гомогенизацией и инструментализацией культурной, социальной и политической однородности.

³ См., например: *Colley L. Britishness and Otherness: An Argument // The Journal of British Studies. 1992. № 4. P. 309–329; Cooper F. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005; Dirks N. Scandal of Empire: India and the Creation of Imperial Britain. Cambridge: Harvard University Press, 2006.*

⁴ См.: *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917 / Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzarini. Bloomington: Indiana University Press, 1997;* и особенно последние публикации: *Горшенина С. Извечна ли маргинальность русского колониального Туркестана, или войдет ли постсоветская Центральная Азия в область post-исследований // Ab Imperio. 2007. № 2. С. 209–258; Бобровников В. Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского перевода «Ориентализма» Эдварда Саида // Ab Imperio. 2008. № 2. С. 325–344; Он же. Что получилось из «Северного Кавказа в Российской империи»: послесловие редактора несколько лет спустя // Ab Imperio. 2008. № 4. С. 501–519; Абашиш С. Размышления о «Центральной Азии в составе Российской империи» // Ab Imperio. 2008. № 4. С. 456–471.*

⁵ См.: *Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004 (особенно раздел про модернизирующиеся империи); Могильнер М. Homo Imperii: История физической антропологии в России. М.: НЛО, 2008; Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov, J. Kusber, A. Semyonov. Leiden; Boston: Brill Academic Publishers, 2009.*

⁶ Об этом редакторы настоящей антологии подробно писали в работе: *Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., Семенов А. В поисках новой имперской истории // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 7–29.*

Материалы настоящей антологии представляют именно те направления в изучении национализма и империи, которые пересматривали представление о нации как социальной и политической норме современной истории и подводили к необходимости взглянуть на империю с точки зрения конструктивистского подхода. Тексты антологии собраны в два раздела: «Осмысление нации в социальных науках» и «Исследования империи в свете критической теории национализма».

Осмысление нации в социальных науках

К моменту распада «советской империи» изучение наций достигло вполне профессионального уровня – настолько профессионального, что обозначились границы самостоятельной дисциплины *nationalism studies*, в которой представители социальных наук играли особенно заметную роль. Для настоящей антологии мы выбрали перевод фрагментов книги одного из ведущих теоретиков этой дисциплины Ханса Кона⁷. Кон оказал огромное влияние на формирование теории национализма в ее современном виде, первым обозначив самые серьезные из исследовательских проблем в этой области и обосновав их на примере богатого исторического материала. Среди поставленных им проблем – модерная или нововременная природа национализма как политической идеи, конструирование национальности активными элитами, типология многообразия национализмов, межкультурный контакт и его последствия и, наконец, немецкий особый путь, или *Sonderweg*. Ханс Кон был автором знаменитой типологии национализмов, согласно которой западный национализм является гражданским, а восточный – этническим. Несмотря на то что сегодняшняя наука в целом отказалась от подобной дихотомии (в немалой степени благодаря работам таких теоретиков в области либерального национализма, как Уил Кимлика, Йейл Тамир и Роджерс Брубейкер), типология Кона остается важной отправной точкой для тех исследователей, которые находятся в поиске более гибких и чувствительных к исторической и культурной вариативности способов описания многообразия проявлений национализма. Именно в этом, на наш взгляд, состоит важность включения Кона в состав современных российских исследований национализма и империи.

Когда в конце 1990-х годов российские обществоведы начали осваивать классические тексты западных теоретиков и исследователей национализма (пытаясь совместить их с реанимируемым романтическим каноном национальной историографии XIX века), в Западной Европе и Америке эта дисциплина подверглась мощной ревизии. Особая роль в этом процессе принадлежит американскому социологу Роджерсу Брубейкеру, автору знаковой статьи «Мифы и заблуждения в изучении национализма», русский перевод которой представлен в антологии⁸. В отличие от своих предшественников Брубейкер не стремился к построению целостной теории национализма. Он выдвинул на повестку дня анализ языка исследований национализма. Одна из фундаментально важных идей Брубейкера состоит в том, что язык, при помощи которого мы описываем феномен национализма, заимствован из социальной и политической практики и, следовательно, должен быть подвергнут серьезному критическому разбору, прежде чем использоваться как язык анализа. Различие между теорией-анализом и практикой-политикой, происходящее из интеллектуальной традиции, представленной, в частности, Пьером Бурдьё, определяет направление мысли Брубейкера. Отсюда и радикальное сомнение в реальности нации как коллектива, и критика так называемого онтологизма группы, предполагающего онтологическую или воплощенную реальность наций и иных социальных сообществ – ведь понимание нации как реальной группы, существование которой дано *a priori*, заимствовано из категориального аппарата самих националистов, политиков-практиков. Практики ищут пути утверждения и признания предполагаемых наций и способы решения национальных проблем, поэтому они не могут поставить под сомнение данность нации как таковой. В этом с ними едины и теоретики, которые сомне-

⁷ Kohn H. The Idea of Nationalism. N.Y., 1944. P. 3–24, 329–334. Ab Imperio опубликовал первую главу и первую часть седьмой главы – «Волнения в Старом Свете».

⁸ Brubaker R. Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / Ed. by J. Hall. Cambridge, UK, 1998. P. 272–306.

ваются в историческом долгожительстве наций, указывают на их «сконструированность» и «изобретенность», но, тем не менее, полагают, что при определенных обстоятельствах существование наций является реальностью.

Роджерс Брубейкер предлагает несколько иное прочтение термина «нация», видя в ней не более чем когнитивную, познавательную форму, в которую люди в определенных обстоятельствах облачают свои представления о социальном и политическом мире. Сформулированная таким образом аналитическая позиция позволила Брубейкеру создать более гибкую модель для учета ситуационной и исторической вариативности проявлений национализма и критически переоценить многие популярные в академической среде «мифы», включая миф о телеологии национализма, стремящегося в пределе к образованию собственного государства, миф о «возвращенном подавленном» национальном, восставшем после падения антинационального советского режима, или миф о разделении национализмов на западный и восточный. Сам выбор термина «миф» для описания научных парадигм не случаен: Брубейкер говорит не об ошибочности разбираемых положений в буквальном смысле этого слова, а о сопричастности исследователей, верящих в эти постулаты, языку и дискурсу национальной политики, что мешает им увидеть ограничения, накладываемые на их анализ национальной рамкой. В этой связи характерен тезис Брубейкера об антиномии принципа национального самоопределения и о принципиальной неразрешимости национальных конфликтов:

Таким образом, вопреки иллюзии, что националистические конфликты допускают фундаментальное разрешение через национальное самоопределение, я привожу своего рода «теорему невозможности», состоящую в том, что национальные конфликты являются в принципе неразрешимыми, что понятие «нация» принадлежит к категории по сути оспариваемых понятий, что хронический конфликт в силу этого имманентен националистической политике... На мой взгляд, национальные конфликты редко «решаются» или «разрешаются». Гораздо более вероятно, что они, подобно конфликтам соперничающих парадигм в Куновской истории науки, со временем затеваются, теряют свою центральность и яркость, когда простые люди и политические деятели обращаются к другим заботам или когда вырастает новое поколение, которому старые ссоры, по большому счету, безразличны.

Анализируя развитие ситуации вокруг венгерского меньшинства в румынской Трансильвании после 1989 года, Брубейкер указывает на необходимость рассматривать эту проблему не только с точки зрения национального конфликта (венгерского меньшинства, румынского национального государства и венгерского национализма «исторической родины»), но также в контексте европейской интеграции и возникновения супранациональной политики. Таким образом, Брубейкер создает теоретические основания для творческого соединения проблематики исследований национализма и изучения разнопорядковых форм идентификации (например, региональной или супранациональной), которые особенно интенсивно изучаются в рамках «новой имперской истории».

Критическая работа с «мифами» продолжается и в следующем публикуемом тексте Брубейкера – статье «Именем нации: размышления о национализме и патриотизме»⁹, где автор обращается к такой важной составляющей семантического пространства национализма, как дискурс патриотизма. Брубейкер исходит из того, что национальное государство, видоизменившись в современных условиях, продолжает существовать как базовая рамка политического опыта. В патриотическом дискурсе он обнаруживает ценную нор-

⁹ *Brubaker R. In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism // Citizenship Studies. Vol. 8 (2004). № 2. P. 115–127.*

мативную инклюзивную составляющую, которая позволяет выйти за пределы узконациональной логики, осмыслить социально ориентированное государство, политический режим, основанный на участии всех граждан, и многополярную систему международных отношений. Этот текст задает основания для критического прочтения становящихся популярными рассуждений об отмирании национального государства и о наступлении новой эры империи под видом глобализации, мультикультурализма, супранациональных политий и мирового гегемона, т. е. для очередного пересмотра тезиса о существовании четких хронологических границ между веком наций и веком империй.

Наконец, мы включили в антологию еще один текст Роджерса Брубейкера, который он написал совместно с одним из наиболее оригинальных и влиятельных историков колониализма и империализма, Фредериком Купером. «За пределами „идентичности“»¹⁰ – работа, которая еще не до конца осмыслена современными историками и обществоведами, поскольку покушается на один из относительно новых «мифов», при помощи которых изучают как национализм, так и опыт многонациональных и поликультурных сообществ. Будучи специалистами по «не-западным» обществам Африки и Восточной Европы, Купер и Брубейкер особенно убедительно подрывают представления об универсализме наших категорий анализа и онтологичности природы такого удобного и как бы самоочевидного понятия, как «идентичность». Как и в случае с «Мифами и заблуждениями в изучении национализма», речь идет о критическом взгляде на аналитический язык, который связан с политикой и социальным опытом. Автоматически заимствуя этот язык, исследователи теряют возможность описывать сложные процессы и ситуации различия и разнообразия, происходящие в социальном «неевклидовом пространстве» и не обязательно приводящие к «разноцветной мозаике, состоящей из монохромов» племен, этничностей, наций, культурных или социальных групп.

Публикуемая следом статья французского исследователя Жерара Нуарьеля¹¹ переносит акцент с *концепции* «идентичности» на *политику* идентичности, на практики включений и исключений, когда государство формирует национальное тело, охраняя его чистоту от разного рода мигрантов и социальных чужаков. На материале французской истории Нуарьель ставит вопрос о национальном государстве как модерном интервенционистском институте, классифицирующем население и предлагающем такие формы социального и политического представительства, которые призваны создавать впечатление естественности «нации» и основанной на этом впечатлении политики.

Завершает этот раздел антологии перевод главы из книги лингвиста и ведущего постколониального теоретика, австралийского ученого Билла Ашкрофта¹². Если «классические» теории национализма рассматривали язык как инструмент формирования и гомогенизации нации, то ранняя постколониальная критика поставила вопрос о языке как о квинтэссенции политики империализма, важнейшем инструменте непрямого политического доминирования. Билл Ашкрофт проводит ревизию этого ортодоксального однонаправленного подхода постколониальных исследований. Анализируя колониальную языковую ситуацию с точки зрения лингвиста, он отказывается от жесткой оппозиции «власть – подчинение» в пользу сложной и нюансированной модели, учитывающей особенности конкретной ситуации коммуникации, механизмов смыслопорождения и способности языка задавать новую культурную дистанцию и переопределять отношения «власть – подчинение». Признавая ситуативность и процессуальность возникновения значения в языковом акте, Ашкрофт утверждает

¹⁰ Brubaker R., Cooper F. Beyond "Identity" // Theory and Society. Vol. 29 (2000). P. 149–172.

¹¹ Noiriel G. Représentation nationale et catégories sociales: L'exemple des réfugiés politiques // Genèses: Sciences Sociales et histoire. Vol. 26 (1997). P. 25–54.

¹² Ashcroft B. Post-Colonial Transformation. London: Routledge, 2001. P. 56–81.

диалогический характер языкового контакта и политического взаимодействия. В модели Билла Ашкрофта российский читатель легко узнает известный по работам московско-тартуской школы семиотический треугольник «автор – художественный текст – читатель» как единую смыслопорождающую систему. Однако Ашкрофт радикально усложняет эту схему, накладывая ее на ситуацию культурного конфликта и политической иерархии, разделяющей автора и читателя в постколониальной ситуации, когда лишь невидимая среда текста/языка выступает в роли медиума, сложно и неоднозначно соединяющего представителей очень разных миров.

Исследования империи в свете критической теории национализма

Этот раздел антологии открывает эссе, написанное по просьбе *Ab Imperio* известным австрийским историком-русистом Андреасом Каппелером, автором ставшей классической работы «*Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall*»¹³. В русском, не вполне удачном переводе книга вышла под названием «Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад». Точнее определение Каппелера переводится как «многонациональная империя», и эта, казалось бы, сугубо языковая коллизия сразу вводит нас в проблемную зону национальных и имперских штудий. Каппелер видел свою задачу в том, чтобы преодолеть подход к российской истории как истории *русского* национального государства, сложившийся в российской классической историографии XIX века и закрепившийся позднее в исследованиях западных русистов. Каппелер попытался предложить модель, которая бы учитывала полиэтничность империи и наделяла исторической субъектностью ее нерусских подданных. Эта парадигмальная для новой имперской истории книга писалась в ситуации отсутствия готовых исторических моделей для осмысления имперского опыта, и, хотя Каппелер заимствовал определенные социологические и исторические подходы, он был склонен относиться с некоторым недоверием к опыту изучения западных колониальных империй, которые, на его взгляд, принципиально отличались от империи Романовых. В написанном для *Ab Imperio* эссе Каппелер критически оценивает ограничения своего подхода, тем самым предвосхищая пути дальнейшего развития «новой имперской истории». В частности, он пишет о невозможности включить в синтетическую «мозаику» имперского разнообразия все имперские народы; о проблеме исторических источников, большинство из которых отражает взгляд центра на своих подданных, и о сложности реконструкции оригинальных голосов последних (в том числе об ограничениях языковой компетенции историка). Он признает, что был вынужден ограничиться рассмотрением взаимоотношений имперского центра с этноконфессиональными группами, тем самым воспроизводя характерный для империи взгляд сверху вниз. Оценивая изменения, произошедшие в историографии России к 2000 году, т. е. восемь лет спустя после выхода книги «Россия – многонациональная империя», Каппелер обращает внимание на расширение репертуара теоретических подходов к осмыслению имперского многообразия (хотя по-прежнему мозаика этничностей/регионов вызывает у него наибольший интерес), на обновление источниковой базы исследований империи. Но в качестве главной тенденции он указывает на национализацию постсоветских историографий, поспешно отказывающихся от имперской исследовательской рамки в пользу национальной. Эта тенденция позволила Каппелеру с полным правом прийти к заключению, что и в 2000 году в историографии не существовало равноценной альтернативы его работе.

Необходимость найти новую исследовательскую модель «империи», тем не менее, становилась все более очевидной. В публикуемой ниже статье британский историк Доминик Ливен осмысливает всплеск имперских исследований и возникновение «империи» как некоего нового универсального концептуального инструмента для изучения вопросов современной политики, проблем власти и знания, национальных движений и т. д. Ливен исходит из необходимости и возможности сформулировать удовлетворяющее разных исследователей, представителей гуманитарных и социальных дисциплин, определение империи, пригодное во все времена и повсеместно. Учитывая многообразие империй в мировой истории

¹³ *Kappeler A. Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall*. Munich: C.H. Beck, 1992, 2001. Рус. пер.: *Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад*. М.: Прогресс-Традиция, 1997.

и призывая отказаться от восприятия опыта западных империй как архетипического, Ливен предлагает такое типологическое определение, в основе которого оказывается власть в разных ее проявлениях. Специфику имперской власти он выявляет, противопоставляя «империю» установленному после Вестфальского мира принципу территориального суверенитета и сформировавшемуся позднее представлению о нормативности национального государства. Ливен, много сделавший для изучения империи как влиятельного игрока в сфере международных отношений и агента мирового порядка¹⁴, отказывается от ее определения через оппозицию «центр – периферия» и выделяет четыре универсальные характеристики: обширность, многонародность, насильственное покорение подданных (что стало проблемой лишь в период новой истории, поскольку ранее любые государственные образования редко строились на основе согласия всех подданных) и региональное могущество. Подобное типологическое определение феномена империи, конечно, спорно. Однако сама постановка вопроса о необходимости новой аналитической рамки для «новой имперской истории» и о возможности вывести некое универсальное понятие империи, основываясь на чрезвычайно многообразном историческом материале, отражает важную ступень в становлении имперских исследований.

Логическим продолжением этой тенденции можно считать текст Джейн Бурбанк и Фредерика Купера, являющийся введением к их книге «Империи в мировой истории: власть и политика разнообразия». Бурбанк и Купер написали, по сути, первый учебник по истории империй, в котором попытались показать, что национальное государство – очень молодой и мимолетный феномен, в то время как империи долгое время определяли человеческое существование. Соответственно, перед авторами учебника встала задача найти способ и язык описания такой политики и такого общества, в котором нормой является разнообразие. Для этого им потребовалось выйти за пределы как Нового времени, так и цивилизационного «Запада». Типологизация империи проводится ими через оппозицию нации, с одной стороны, и национального государства, а также племени, города-государства, королевства, федерации и конфедерации – с другой. Ни одну из перечисленных форм государственности авторы не выделяют как «естественную» или связанную с неким уникальным политическим порядком. Основное внимание Бурбанк и Купера сосредоточено не на выведении волшебной «формулы империи», но на анализе ее функционирования как системы власти, на том, какими средствами империи достигали баланса между инкорпорацией народов в единую политик и поддержанием различий между ними; какое политическое воображение они формировали и как отвечали на разнообразные вызовы. Соответственно, с поиска универсального определения Бурбанк и Купер переносят акцент на поиск сложной и динамичной модели империи. Тем не менее они полагают, что такая модель, отделяющая империи от других политик и обществ, существует как «реальность». «Империя и политика различия» – чрезвычайно интересный и далеко не бесспорный текст, но он, пожалуй, наиболее адекватно описывает нынешний этап историографического процесса изучения империи и национализма и подтверждает впечатление, что наиболее интересные методологические прорывы сегодня происходят не в рамках исследований национализма, а в области новой имперской истории.

«Воспроизводство империи» стало темой 39-го ежегодного конгресса Американской ассоциации содействия славянским исследованиям (AAASS), проходившего в Новом Орлеане 17 ноября 2007 года. Это был первый тематический конгресс самого большого и активно работающего международного сообщества профессиональных исследователей Рос-

¹⁴ Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2006. Это перевод английского издания: *Lieven D. Empire: The Russian Empire and its Rivals from the Sixteenth Century to the Present.* London: John Murray, 2000. Перевод названия книги Ливена сознательно неточен.

сии и Евразии, и он оказался посвящен империи. В настоящий раздел антологии включено выступление президента ассоциации (избранного на 2007 год) Марка Бейссингера «Феномен воспроизводства империи в Евразии». В отличие от прочих авторов раздела Бейссингера интересует не генеалогия категории «империя» и не воспроизводство империи как аналитической категории. Формально определяя империю как «масштабную систему чужеродного господства», Марк Бейссингер тут же поясняет, что свою исследовательскую задачу он видит в выяснении изменяющегося значения понятий «чужеродности» и «господства». Он изучает воспроизведение империи как категории политики в регионе, где когда-то существовало государство, гордо называвшее себя империей, а затем – государство, настаивавшее на своей антиимперской сущности. Тем не менее СССР воспринимался всеми как «империя», да и современную Россию часто определяют как государство с имперскими амбициями. Чтобы ответить на вопрос «почему», Бейссингер обращается к феномену имперской репутации, пытаясь понять, что заставляет людей воспринимать государство как имперское в мире, где более не существует самопровозглашаемых империй. Один из выводов Бейссингера, состоящий в утверждении исторической обусловленности содержания «империи» и ключевой роли гегемонных дискурсов, заставляющих видеть в отношениях иерархии имперские черты, а во власти – чужака, подводит к ревизии существующих в имперских исследованиях подходов, направленных на онтологизацию категории «империи» и на создание ее универсальной модели.

Завершает антологию перевод вступительной статьи к коллективной монографии «Империя выступает: языки рационализации и самоописания в Российской империи»¹⁵. Ее авторы предлагают обзор новейших имперских исследований применительно к истории Российской империи и развивают лингвистически-когнитивный подход к феномену империи, сродни тому подходу к изучению национализма, который на страницах настоящего сборника представлен работами Роджерса Брубейкера. Новый аналитический язык описания ситуаций многообразия и различия создан авторским коллективом для того, чтобы избежать логических ловушек, возникающих при некритическом перенесении языка самоописания империи в язык анализа или при использовании нормативного языка национализма для описания исторического опыта империи. Перед авторами статьи стояли три ключевые проблемы: как описать исторический опыт Российской империи с учетом его специфики, но не впадая в представление об уникальности этого государства и общества и не отбрасывая сравнительные параллели с историей западных колониальных империй и колониализма; как сочетать изучение империи как пространства социального опыта многообразия (т. е. столкновения людей с другой верой, другим языком, другой культурой, другим социальным укладом) и изучение политических механизмов и режимов управления этим пространством многообразия; и, наконец, как описать исторические изменения, связанные с вызовом современной рациональности, модернизации и национализма, и избежать упрощенного представления об отмирании империи и триумфе наций и национальных государств. Иными словами, этот текст демонстрирует продуктивность и даже необходимость диалога между исследователями империи и исследователями национализма в деле анализа политических и социальных форм различия и многообразия.

*Илья Герасимов
Марина Могильнер
Александр Семенов*

¹⁵ Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov, J. Kusber, A. Semyonov. Leiden; Boston: Brill Academic Publishers, 2009. Редакторы приносят свою благодарность издательству Brill за разрешение опубликовать перевод введения.

I ОСМЫСЛЕНИЕ НАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ

Ханс Кон Идея национализма

1

Национализм в современном понимании этого термина – не старше второй половины XVIII века. Его первой великой манифестацией стала Французская революция, придавшая этому новому движению все возрастающую динамическую силу¹⁶. Тем не менее в конце XVIII века национализм проявился почти одновременно в нескольких европейских странах – пришло его время в эволюции человечества. Хотя Французская революция явилась одним из наиболее влиятельных факторов, способствовавших распространению национализма, ее не считают датой его рождения. Подобно всем историческим движениям, национализм глубоко укоренен в прошлом. Экономические, социальные и интеллектуальные предпосылки его появления вызревали неравномерно в разных странах в течение столетий. Невозможно оценить важность и приоритет каждого из необходимых условий формирования национализма. Они прочно взаимосвязаны и взаимозависимы. Хотя историю созревания тех или иных предпосылок можно проследить в отдельности, результат разделить невозможно. Если аналитические исследовательские процедуры и позволяют это сделать, то в реальности тенденции, приведшие к появлению национализма, сплетены неразрывно.

Национализм невообразим без предшествующей ему идеи народного суверенитета, без полного пересмотра позиций правящего и управляемого, классов и каст. Для появления национализма необходимо было новое, секуляризированное восприятие общества и природы, их разделение посредством новой науки естествознания и нового всеобщего закона, согласно Гроцию и Локку. Возникновение третьего сословия с неизбежностью вело к слому традиционализма в экономической жизни, это сословие способствовало тому, что жизнь, язык и искусство народа постепенно замещали цивилизацию правящих слоев, т. е. знати. Этот новый класс оказался гораздо меньше связан традицией, чем знать или духовное сословие, он представлял новую силу, готовую порвать с традицией на идеологическом уровне еще решительнее, чем в реальности. С момента своего появления третье сословие претендовало на то, чтобы представлять не только новый класс и его интересы, но и весь народ.

¹⁶ Большинство историков единодушны в вопросе о современном происхождении национализма: «Национализм – дитя Французской революции» (*Gooch G.P. Studies in Modern History. London, 1931. P. 217*); «Национализм молод, очень молод» (*Hayes J.H. Essays on Nationalism. N.Y., 1926*). См. также: *Bryce J. Studies in History and Jurisprudence. Oxford, 1901. Vol. I. P. 268*; *Meinecke F. Weltbürgertum und Nationalstaat. Munich, 1915. S. 5 ff.*; *Herberts. Nationality and Its Problems. London, 1920*; *Mitscherlich W. Der Nationalismus Westeuropas. Leipzig, 1920*; *Fisher H.A.L. The Common Weal. London, 1924. P. 195*; *Koht H. L'Esprit national et l'idée de la souveraineté du peuple // Bulletin of the International Committee of Historical Sciences. Vol. II (1929). Part II. P. 217–224*; *Stavenhagen K. Kritische Gänge in die Volkstheorie // Abhandlungen der Herder Gesellschaft und des Herder Instituts. Riga, 1936. Bd. V.* Интерес к национализму прошлого возник в связи с присутствием национализма в современности, в наших мыслях, что заставляет нас видеть проявления национализма во всем и везде. Профессор Т.Б. Валек-Чернецки выступает против позиции Эдуарда Мейера, согласно которой в определенные периоды времени только евреи, иранцы и греки достигли полноты национализма (*Walek-Czernecki T.B. Le rôle de la nationalité dans l'histoire de l'antiquité // Bulletin of the International Committee of Historical Sciences. Vol. II (1929). P. 303–320*). Валек-Чернецки считает, что у греков и римлян национализм так и не развился, в то время как у вавилонян, египтян и других восточных народов он достиг полного расцвета.

В странах типа Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, где третье сословие набрало силу уже в XVIII веке, национализм проявил себя в основном в политических и экономических изменениях (хотя этим не ограничился). Там же, где третье сословие было слабым и к началу XIX века находилось в зачаточном состоянии, как, например, в Германии, Италии и у славянских народов, национализм выразился преимущественно в культуре. Поначалу этот культурный национализм концентрировался не столько на идее национального государства, сколько на культивировании народного духа (Volkgeist) и его проявлений в литературе и фольклоре, в родном языке и в истории. Укрепление третьего сословия, наряду с политическим и культурным пробуждением масс, в течение XIX века привело к тому, что этот культурный национализм постепенно перерос в стремление к формированию национального государства.

Рост национализма – это процесс интеграции народных масс в общую политическую форму. Поэтому национализм предполагает существование, в реальности или в идеале, централизованной формы правления, обладающего юрисдикцией над обширной и отдельной территорией. Такая форма была создана абсолютными монархами, которые и задали динамику развития современного национализма. Французская революция унаследовала и продолжила централизаторские устремления монархов. Но она также наполнила централизованную структуру государства новым духом и придала ей силу сплоченности, до той поры неизвестную. Трудно представить себе национализм в XVI–XVIII веках, до возникновения современного государства. Национализм воспринял современную форму государства, но изменил ее, обогатив новым восприятием жизни и новым религиозным пылом.

Что касается внутреннего механизма роста национализма, то он использовал некоторые древнейшие и примитивнейшие человеческие чувства, игравшие важную роль в формировании социальных групп в истории. В человеке существует естественное стремление – под «естественным стремлением» мы подразумеваем тенденцию, порожденную социальными условиями в доисторические времена и кажущуюся нам естественной – любить то место, где он был рожден или провел детские годы; любить его окрестности, климат, очертания холмов и долин, рек и лесов. Мы все подвластны этой безграничной силе привычки, и, даже если нас притягивает неизвестное и влекут перемены, мы находим покой в умиротворяющем мире привычного. Легко себе представить, что человек отдает предпочтение именно своему языку как тому единственному, который он полностью понимает и который ассоциируется у него с «домом». Он предпочитает родные обычаи и родную пищу чужим, кажущимся ему непонятными и неудобоваримыми. Путешественник, утомленный длительным пребыванием в чужих краях и контактами с другими народами, с чувством ликования возвращается домой, к своему стулу и своему столу.

Неудивительно, что он гордится качествами собственного характера и с легкостью верит в их превосходство. Если, с его точки зрения, цивилизованные люди (такие, как он сам) отличаются именно такими качествами, то логично предположить, что эти качества и есть единственно приемлемые для человеческих существ. С другой стороны, контакт с чужаками, наблюдение за их странными, незнакомыми и поэтому кажущимися опасными обычаями пробуждает недоверие ко всему чужеродному. Но это же недоверие питает ощущение собственного превосходства, а иногда и открытую враждебность к чужому. Чем примитивнее люди, тем сильнее их недоверие к чужакам и, соответственно, тем сильнее их групповое чувство. В поэме «Чужак» Редьярда Киплинга находим описание этого чувства:

Чужак у моих ворот,
Он может быть честен и добр,
Но что о мыслях его заключить —
Чужой у него разговор.

Вижу лик, и глаза, и рот,
Но души мне не различить¹⁷.

Эти чувства существовали всегда. Они не формируют национализм; они соотносятся с определенными вещами – территорией, языком, происхождением, – которые мы также находим в национализме. Но там они полностью трансформированы, наполнены новыми эмоциями и помещены в более широкий контекст. Они – естественные элементы, из которых складывается национализм; но национализм – не естественный феномен, не продукт «вечных» и «натуральных» законов; национализм – это результат роста социальных и интеллектуальных факторов на определенном этапе исторического процесса. Допустимо сказать, что какое-то чувство национальной принадлежности существовало и до рождения современного национализма – чувство, неравное по глубине и частоте проявления в разные времена; в некоторые эпохи почти полностью истребленное, в другие – более или менее ясно проявляющееся. Тем не менее в целом оно было неосознанным и невыраженным, не воздействовало на мысли и поступки людей глубоким и всепроникающим образом. Отчетливо это чувство проявлялось только случайно, у отдельных личностей или у отдельных групп, порою – под давлением или в результате провокации. Оно не определяло цели и поступки людей в течение какого-либо длительного времени. Оно не являлось целенаправленной волей, сплавающей индивидуумов в единство эмоций, мыслей и действий¹⁸.

До эпохи национализма люди очень редко обращали внимание на тот факт, что один и тот же язык используется на значительной территории. На самом деле это не был тот же самый язык: несколько диалектов существовали бок о бок, иногда непонятные для жителя соседней провинции. Устный язык принимался как сама собой разумеющаяся реальность. Он ни в коем случае не рассматривался в качестве политического или культурного фактора, а тем более в качестве объекта политической или культурной борьбы. В Средние века многочисленность языков объяснялась библейским текстом как последствие греховности человека и Божье наказание за возведение Вавилонской башни. Значимость языка ощущалась в пограничных районах, а также в ходе экспедиций и путешествий. Тогда становился очевидным чужеродный характер группы, говорящей на незнакомом языке, и многие народы впервые осознавались как чужие и назывались иноязычными. Греческое слово *barbaros* (означающее «чужой» или «иностранный» и, соответственно, «грубый» и «невежественный»), вероятно, проистекало из понятия «косноязычие» или «неспособность понятно разговаривать» – слово, схожее с санскритским *Barbara* («косноязычный» или «не-арийский»). Славяне называли германцев, с которыми они вступили в контакт, *немцы*, «немые» – люди, которых никто не понимает. Человек, говорящий на непонятном языке, казался пребывающим за чертой цивилизации. Но язык воспринимался славянами и другими народами как объективная реальность, а не как культурное наследие. Язык, служивший для передачи по наследству сокровищ духовной культуры, – в средневековой Европе так же, как в исламской цивилизации, в Индии и в Китае, – обычно отличался от языка, на котором говорил народ: его специально изучали, им владели только представители образованного класса. Даже если это

¹⁷ Пер. С. Глебова.

¹⁸ Джон Оксмит пишет о национализме как о чем-то, что «подавляющее большинство цивилизованных людей считает самым священным и всепоглощающим вдохновением в жизни», и как о «наиболее чреватом явлении современной политической эволюции» (*Oaksmith J. Race and Nationality: An Inquiry into the Origin and Growth of Patriotism. N.Y., 1919. P. VIII ff.*). Его определение национализма подходит только для периода, начавшегося с Французской революцией. Тогда, и только тогда национализм стал вдохновением для «цивилизованных людей». Можно даже утверждать, что определенный народ становится частью «современной» цивилизации тогда, когда он проникается духом национализма. Китайцы были цивилизованными и до того, как большинство из них прониклось националистическими чувствами в XX веке, когда они вошли именно в «современную» цивилизацию. Национализм – сверстник «современной» цивилизации, хотя, конечно, речь не идет о цивилизации вообще.

не был язык другого происхождения, он обычно являлся столь архаичным и насыщенным многообразными, чисто литературными, классическими ассоциациями, что лишь небольшая группа людей могла его понимать.

До эпохи национализма язык очень редко выделяли как фактор, на котором основывались престиж и власть определенной группы. До последних двух столетий иностранные языки оставались языками, используемыми официальными кругами, учеными и высшим классом. Упомянем только один, крайне показательный акт: бретонские сословия, очень ревниво относившиеся к своей независимости, тем не менее говорили по-французски, и в «Акте объединения в целях защиты свобод Бретони» 1719 года бретонские представители не упомянули языковые претензии. Переводы Библии в протестантских странах были приняты не по каким-то националистическим мотивам, но исключительно по религиозным. Королева Елизавета повелела перевести Библию и молитвенник на уэльский язык, а также проводить церковные службы на уэльском языке, чтобы освободить уэльсцев от «невежества папства». С ростом национализма в следующих столетиях, когда религия все еще доминировала, но уже проявлялись ростки нового миропонимания, переводы Библии воздействовали на укрепление национального чувства и усиление значимости национального языка, который становился все более и более важным культурным элементом, средством распространения всеобщего образования и расширения влияния массового печатного слова. В то же время унифицировались формы языка, распространяясь все шире и шире, подчиняя себе новое пространство, поглощая местные диалекты или вытесняя их на задний план.

Сформировавшееся в результате этого долгого и трудного процесса моноязыковое пространство стало объектом любви для своего населения. Таким образом, любовь к родине, признаваемая сутью патриотизма, является не «естественным феноменом, но искусственным продуктом исторического и интеллектуального развития». Родина, которую человек любит «естественно», – это его родная деревня, долина или город, маленькая территория, знакомая ему до мельчайших деталей, связанная с личными воспоминаниями, место, в котором он прожил всю свою жизнь. Территория, населенная группой людей, образующих нацию в современном понимании этого слова, территория, зачастую характеризующаяся различиями в ландшафте и климате, была практически незнакома обычному человеку, ее узнавали только благодаря рассказам путешественников, но до эпохи национализма путешествия были доступны только очень малой части населения. Вольтер, живший до этой эпохи, отмечал, что «чем больше становится родина, тем меньше ее любят, ведь разделенная любовь ослабевает. Невозможно нежно любить многочисленное семейство, с членами которого лично не знаком».

Национализм не является гармоничным естественным чувством, идентичным любви к семье и дому, как утверждают некоторые ученые, находящиеся под влиянием Аристотеля¹⁹. Часто любовь человека сравнивают с расходящимися кругами: первый круг – его семья, далее – его деревня, его родные или племя, нация и, наконец, человечество и высшее добро. Но любовь к дому и семье – это конкретное чувство, доступное каждому в повседневной жизни, в то время как национализм (а космополитизм даже в большей степени) – это весьма комплексное и изначально абстрактное чувство. Оно приобретает эмоциональную теплоту настоящего чувства только в ходе исторического развития, когда посредством унификации образования, возникновения экономической взаимозависимости и соответствующих политических и социальных институтов происходит интеграция масс и их идентификация с национализмом, который слишком огромен для индивидуального опыта. Национализм, т. е. наша

¹⁹ См.: *Seipel I. Nation und Staat. Vienna, 1916.* Под государством или отчизной Аристотель понимал нечто легко распознаваемое как реальность в ежедневных контактах. Государство должно населять не менее десяти и не более тысячи жителей (Никомахова этика, IX, ю, 3). Огромные империи варваров он не считал настоящими государствами (Политика, VII, 4).

идентификация с жизненными устремлениями бесчисленных миллионов людей, которых мы никогда не узнаем лично, с территорией, с которой мы никогда полностью не ознакомимся, качественно отличается от любви к семье и дому. Он сродни любви к человечеству или земному шару. И то и другое принадлежит к особому типу любви, который Ницше («Так говорил Заратустра») назвал *Femstenliebe* — любовь к дальнему, в отличие от *Nächstenliebe* — любви к ближнему²⁰.

Жить на одной территории, в одинаковых природных условиях и, что менее существенно, но все же важно, переживать общую историю и находиться под влиянием общих законов — значит приобретать некоторые общие воззрения и свойства, часто называемые национальным характером. В мировой литературе всех времен можно встретить характеристики разных народов, таких, например, как галлы, греки, немцы или англичане. В начале XVIII века, когда англичане считались народом, наиболее склонным к революции и переменам, Вольтер писал: «Французы считают, что правительство этого острова более беспокойное, чем море, которое окружает этот остров, что, безусловно, истинно»²¹. Сто лет спустя мнения по поводу англичан и французов переменялись на прямо противоположные. Теперь англичан стали считать — и таково же было их собственное мнение о себе — бесстрашной нацией, гордящейся своим неприятием насильственных революций. Это мнение сохранило силу до сих пор, в то время как французов стали воспринимать как народ, легко поддающийся революционным переворотам.

Похожая перемена произошла и в отношении к немцам. Сто лет назад их считали милыми и совершенно непрактичными людьми, способными к занятиям метафизикой, музыкой и поэзией, но негодными для современной промышленности и бизнеса. Сейчас количество метафизиков, музыкантов или поэтов среди немцев весьма незначительно, но они стали достаточно удачливыми и безжалостными задирами, а также требовательными и умелыми хозяевами в современном производстве и бизнесе. Монголы под управлением Чингисхана были известны своей воинственностью, они покорили всю Азию и половину Европы. В XVI столетии, после принятия ламаистского буддизма, их старый дух был полностью сломлен, и они превратились в мирных и набожных людей. Под влиянием советского правления и революционной пропаганды дикие инстинкты этого племени пробудились, в монголах стало оживать сознание, способное сломать религиозные запреты.

Суждения наблюдателей о характере тех или иных народов до определенной степени зависят от конкретных политических обстоятельств и личных особенностей наблюдателя. Крайности восприятия можно проиллюстрировать, с одной стороны, утверждением Генри Морлея о том, что «в литературе любого народа, при всех контрастах форм, вызванных меняющимися социальными факторами, эти формы, от первой до последней, раскрывают нам один единственный национальный характер», а с другой стороны — мнением Д.М. Робертсона, согласно которому «нация, представленная в виде извечного антропоморфного

²⁰ Роберт Михеле отмечает, что *die Femstenliebe* расширяется от патриотизма к интернационализму (*Michels R. Der Patriotismus: Prolegomena zu seiner soziologischen Analyse. München, 1929. S. 88*). Тогда патриотизм и интернационализм обладают общей чертой — отсутствием физического контакта — и для чувствующих, и для сочувствующих. И то и другое является продуктом исторического развития и воздействия образования. Уильям Хазлитт также отметил исторический характер патриотизма: «Патриотизм в больших государствах в наше время есть и должен быть порождением интеллекта, а не результатом физической привязанности к местности. Патриотизм, в строгом значении этого слова, является не естественной или личной привязанностью, но законом нашего рационального и морального естества, усиленным определенными обстоятельствами и ассоциациями, но не рожденным и не вскормленным ими. Невозможно представить, чтобы мы испытывали личную привязанность к шестнадцати миллионам человек, а тем более к шестидесяти миллионам. Мы не можем быть привычно привязаны к местам, которые мы никогда не видели, и к людям, о которых мы никогда не слышали. Не является ли слово „англичанин“ общим термином так же, как „человек“? Не имеет ли оно множества различных значений?» (*Hazlitt W. On Patriotism: A Fragment, written Jan. 5, 1814 // Hazlitt W. Collected Works / Ed. by A.R. Waller and A. Glover. London, 1902. Vol. I. P. 67*).

²¹ *Voltaire. Letters Concerning the English Nation. Letter VIII. London, 1773. P. 55.*

существа, есть, по большому счету, просто метафизическая фантазия». Между этими двумя крайностями находится вполне приемлемая компромиссная позиция Фрэнсиса Гэлтона, считающего, что «разные стороны многогранного характера человека реагируют на различные воздействия окружающей среды, таким образом один и тот же человек, а уж тем более один и тот же народ может проявлять себя по-разному в разные времена»²². Люди и их характеры невероятно сложны: чем сложнее характеры, тем менее примитивны люди. Это правило еще более справедливо для такого сложного организма, как нация. Невероятное множество индивидуумов складывается в нацию; в течение своей жизни нация подвержена огромному количеству разнообразных воздействий и влияний, которые меняют и формируют ее, ведь рост и изменение являются законами, справедливыми для всех исторических феноменов.

2

Национализм – это прежде всего и в основном способ мысли, творение сознания, которое становилось все более и более общим, начиная со времен Французской революции. Интеллектуальная жизнь человека определяется эгоцентризмом в той же степени, что и группоцентризм. И то и другое – комплексное состояние ума, которое возникает через опыт дифференциации и противопоставления Я и окружающего мира, мы-группы и тех, кто к ней не принадлежит. Коллективное или групповое сознание может возникать у совершенно различных групп; некоторые имеют более постоянный характер – семья, класс, клан, каста, деревня, секта, религия и так далее, в то время как другие группы менее постоянны – одноклассники, футбольная команда или пассажиры корабля. В любом случае, отличаясь по признаку постоянства, это групповое сознание стремится создать гомогенность внутри данной группы, единообразие и единомыслие, которое будет приводить к согласованным совместным действиям. С этой позиции мы можем говорить о наличии группового сознания и группового действия: например, о католическом сознании и католическом действии, об английском сознании и английском действии; но мы также можем говорить и о действии сельской или городской групп. Все эти группы приобретают собственный характер. Характер группы, объединенной одним родом деятельности (крестьяне, солдаты, служащие), может быть столь же определенным и постоянным, как и характер национальной группы, или даже более того. Каждая группа создает свои собственные символы и условности, в каждой группе доминируют социальные традиции, проявляющиеся в общественном мнении данной группы.

Групповое сознание не является исключаяющим. Люди одновременно осознают себя членами различных групп. Чем комплекснее становится цивилизация, тем к большему количеству групп причисляет себя человек. Эти группы непостоянны. Их границы меняются так же, как меняется степень их важности. Среди этих разнообразных, иногда даже конфликтующих между собой групп обычно есть одна, которая признается человеком наиболее важной

²² *Morley H.* English Writers. N.Y., 1887. Vol. 1. P. I; *Galton F.* Inquiries into Human Faculty and Its Development. N.Y., 1908. P. 128; *Robertson J.M.* The Evolution of States: An Introduction to English Politics. London, 1912. P. 285. Национализм – стремление к формированию национальности или к членству в национальности – сам по себе выступает фактором в формировании национального характера. Это можно ясно проследить на примере процесса американизации иммигрантов, приобретающих во втором или третьем поколении совершенно новые жизненные позиции и черты. В этом, как и во всем остальном в истории и общественной жизни, мы находим постоянное взаимодействие причины и следствия. Психология национальностей была разработана Морицем Лазарусом и Хейманном Штейнталем (*Lazarus M., Steintal H.* Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 1860–1890. Berlin, 1890). Они рассматривали групповое сознание как слияние индивидуальных сознаний, функционирующих как единое целое. См. также: *Fouillé A.* Esquisse psychologique des peuples européens. Paris, 1902; *Wundt W.* Die Nationen und ihre Philosophie. Leipzig, 1915 (его десять томов о *Völkerpsychologie* являются в большей степени трудом по этнографии); *Hurwicz E.* Die Seelen der Völker. Gotha, 1920; *Wechsler E.* Esprit und Geist: Versuch einer Wesenskunde des Deutschen und des Französischen. Bielefeld, 1927; *Demiashkevich M.* The National Mind: English, French, German. N.Y., 1938.

и которой он останется верным в ситуации межгруппового конфликта лояльностей. Человек часто идентифицирует себя с определенной группой даже тогда, когда она уже больше не существует. Порой это чувство солидарности между индивидуумом и группой принимает форму полного растворения индивидуума в группе.

Иерархия лояльности по отношению к разным группам выстраивается по-разному в различные периоды истории и в различных цивилизациях. Современный период истории, начавшийся с Французской революции, характеризуется тем, что в этот, и только в этот период нация требует от человека высшей лояльности, что каждый человек, а не только определенные личности или классы, подчинен этой высшей лояльности и что во всех цивилизациях (которые до этого времени следовали каждая своим, отличным друг от друга путем) теперь все больше и больше доминирует одно верховное групповое сознание – национализм.

Исследователи часто отмечают, что рост национализма и национального разделения совпал с небывалым развитием международных контактов, торговли и средств информации; что разговорные языки были возведены в ранг литературных и культурных языков как раз тогда, когда казалось, что пришло время избавиться от языковых различий, распространив наиболее влиятельные языки. Это мнение упускает из виду тот факт, что повсеместный рост национализма, пробуждающего людей к политической и культурной жизни, подготавливал почву для тесных культурных контактов всех цивилизаций человечества (только сейчас впервые приведенных к общему знаменателю), одновременно разделяя и объединяя их.

Национализм, описываемый как групповое сознание, является, соответственно, психологическим и социологическим явлением, но любое психологическое или социологическое объяснение национализма выглядит односторонним. Один американский психолог определил нацию как «группу индивидуумов, которая ощущает себя одним существом, готова, до определенных пределов, пожертвовать индивидуальностью для блага группы, которая процветает как единое существо, которая испытывает определенные эмоции как единое существо, в то время как каждый член этой группы радуется достижениям и печалится о потерях этой группы... Национальность – это ментальное состояние или общность в поведении»²³. Это определение в некотором роде подходит не только для нации, но и для любой другой доминантной группы, к которой человек относится с лояльностью и с которой он себя идентифицирует. Поэтому недостаточно просто выделить национальную группу из ряда других групп, сходных по значительности и постоянству²⁴.

Национальности являются продуктом исторического развития общества. Они не идентичны кланам, племенам или народным группам – группам, объединенным реально существующим или предполагаемым родством и местом проживания. Подобные этнографические группы существовали на протяжении всей истории с самых ранних времен, но они не формируют национальностей; они не что иное, как «этнографический материал», из которого при определенных обстоятельствах может произойти национальность. Национальности – это продукты живых сил истории, поэтому они находятся в непрерывном изменении и никогда не постоянны²⁵. Национальности – это группы недавнего происхождения, и поэтому

²³ Pillsbury W.B. *The Psychology of Nationality and Internationalism*. N.Y., 1919. P. 5. См. также с. 267: «Национализм – это вопрос ума и духа, а не... физических отношений. Единственный способ решить, принадлежит ли данный человек к этой нации или к другой, – это спросить его».

²⁴ Социологические определения рассматривают национальность в основном как группу конфликта. См.: Handman M.S. *The Sentiments of Nationalism* // *Political Science Quarterly*. Vol. XXXVI (1921). № 1. P. 104–121; Wirth L. *Types of Nationalism* // *American Journal of Sociology*. Vol. XLI (1937). № 6. P. 723–737. Типологизация по историческим элементам представлена в работе: Hayes C.J.H. *Two Varieties of Nationalism, Original and Derived* // *Proceedings of the Association of History Teachers of the Middle States and Maryland*. Vol. XXVI (1928). P. 71–83; и моих книгах: Kohn H. *Revolutions and Dictatorships*. Cambridge, 1939. P. 68–82; *Idem*. *Not by Arms Alone*. Cambridge, 1940. P. 103–124.

²⁵ Слово «национальность» выглядит предпочтительнее слова «нация», так как последний термин часто обозначает «государство» во французском и английском языках. В позднем Средневековье слово «нация» зачастую не имело ника-

они весьма сложны. Им невозможно дать четкое определение. Национальность – это исторический и политический концепт, а слова «нация» и «национальность» претерпели многочисленные семантические изменения. Только в современной истории человек стал рассматривать национальность в качестве центра политической и культурной жизнедеятельности. Поэтому национальность не абсолютна, и большая ошибка (лежащая в основе большинства крайностей современности) – рассматривать ее как абсолют, как некую объективную априорную данность, как источник всей политической и культурной жизни.

Две ошибочные теории, претендующие на объективность и реалистичность, придали национальности статус абсолюта²⁶. Согласно первой теории, кровь или раса есть основа национальности, она существует вечно и несет в себе неизменяемую наследственность; другая рассматривает народный дух (*Volksgeist*) как неисчерпаемый источник национальности во всех ее проявлениях. Эти теории не дают никакого убедительного объяснения возникновению и роли национальности: они отсылают нас к мифическим и доисторическим псевдореальностям. Их, скорее, следует рассматривать как характерные элементы мышления в эпоху национализма и как объект анализа для историка национализма.

3

Национальности возникают только тогда, когда определенная социальная группа выделяется посредством объективных связей. Национальность обычно характеризуется наличием ряда таких связей, но очень мало национальностей суммируют их. Наиболее часто встречаются общие происхождение, язык, территория, политическая структура, обычаи, традиции и религия. Короткого исторического обзора будет вполне достаточно, чтобы продемонстрировать, что ни один из этих элементов не является абсолютно необходимым для существования национальности.

Общие корни кажутся особенно важными примитивному человеку, для которого рождение и смерть являются величайшими таинствами и окружены поэтому легендами и предрассудками. Современные национальности, как бы то ни было, представляют собой смесь различных рас. Великие исторические миграции и мобильность современной жизни повсеместно привели к смешению, так что немногие национальности (если вообще такие есть) могут сейчас похвастаться общим происхождением.

кого политического содержания. Римляне называли себя не *natio*, *apopiuis*. В XVII и XVIII веках «нация» часто противопоставлялась «народу» (*peuple*). Этот термин указывал на сознательную и активную часть народа, в то время как термин «народ» означал политически и социально более пассивные массы. Аналогично использовалось в немецком языке (в который романтизм с его акцентом на иррациональном и подсознательном привнес любопытную переоценку) слово *Volk*. Национализм принес с собой интеграцию народа в нацию, пробуждение масс к политической и социальной активности. Революции XVIII века завершили эту интеграцию народа на Западе, и «нация» стала в основном означать всю политическую организацию или государство; это разделение зачастую неприменимо к более сложной ситуации в Центральной и Восточной Европе. См.: *Neumann F.J.* Volk und Nation. Leipzig, 1888; *Fels J.* Begriff und Wesen der Nation: Eine soziologische Untersuchung und Kritik. Münster, 1927; *Ziegler H.O.* Die moderne Nation: Ein Beitrag zur politischen Soziologie. Tübingen, 1931; *Hertz F.* Wesen und Werden der Nation // Nation und Nationalität: Jahrbuch für Soziologie. First supplementary vol. Karlsruhe, 1927; *Amonn A.* Nationalgefühl und Staatsgefühl. München, 1915.

²⁶ Теория рас сильнее всего проявилась в Германии. Ее триумф был предсказан одним французским автором. Он писал: «Одно слово отражает вечную константу, от которой немецкая мысль и не пыталась никогда себя освободить. Одно слово превосходно выражает все стороны этого творческого бессилия. Это слово – „телесность“, мощное утверждение тела и почвы, первичности чувств и мускульной энергии, предпочтение очевидной силы... Он (германец) свел всю широту понятия и значения прав к образу и формуле реальностей, которые ему были выгодны, и, с настойчивостью большей, чем у других человеческих групп, германец продолжал воображать нацию по аналогии с естественным и осязаемым примером – с семьей. Действительные или ложные, кровные связи оставались для него и наиболее понятными, и наиболее важными. Эгоизм, присущий всем людям и всем человеческим объединениям, приобрел у германца и германских наций величественный и страшный квазирелигиозный аспект» (*Johannet R.* Le principe des nationalités. Paris, 1923. P. 187 ff.). См. также: *Voegelin E.* The Growth of the Race Idea // Review of Politics. 1940. July. P. 283–317.

Важность языка для формирования и жизнедеятельности национальности была отмечена Гердером и Фихте²⁷. Но ведь существуют такие национальности, у которых нет собственного языка, например, швейцарцы, говорящие на четырех языках, или латиноамериканские национальности, представители которых говорят на испанском или португальском. Англоязычные нации (так же, как и испаноязычные) имеют ряд общих черт: они говорят на одном языке и до сравнительно недавнего времени имели общее историческое прошлое, а также традиции и обычаи; тем не менее они представляют различные национальности с зачастую конфликтными целями²⁸. Еще один аргумент в пользу некоторой несостоятельности объективных критериев для формирования и существования различных национальностей – пример Норвегии и Дании, где население принадлежит одной расе и говорит практически на одном языке. Тем не менее они считают себя двумя различными национальностями, а норвежцы стали выделять свой язык как раз в результате возникновения своей национальности.

Руссо первым подчеркнул важность обычаев и традиций для формирования национальности. Безусловно, каждая нация имеет свои обычаи, традиции и институты, но в разных местностях они часто весьма отличаются друг от друга, и одновременно происходит процесс их стандартизации по всему миру или, как минимум, на довольно больших пространствах. В современном мире обычаи и манеры зачастую изменяются с невероятной скоростью.

До начала подъема современного национализма религия была ведущей силой. Это справедливо как для западного, так и для восточного христианства, а также для исламской цивилизации и Индии. Разделение проводилось не по национальным, а по религиозным рубежам. Поэтому формирование национальностей и подъем национализма сопровождались трансформацией религиозности человека, и именно влияние религии временами способствовало, а временами препятствовало рождению национальностей. Иногда религиозные противоречия разделяли и ослабляли национальности, а иногда даже стимулировали создание новых национальностей, как это было в случае с хорватами-католиками и сербами-православными. С другой стороны, национальные церкви зачастую служили стимулом для возникновения национализма; а когда конфликтующие национальности исповедовали разные веры, религия играла значительную роль как механизм защиты более слабой национальности (католицизм в британской Ирландии и в прусской Польше).

Наиболее важным внешним фактором в процессе формирования национальностей является общая территория или, вернее, государство. Политические границы имеют тенденцию определять национальности. Многие новые национальности, например канадская, сформировались целиком и полностью благодаря тому, что они создали политическое и географическое образование. Обычно мы считаем (по причинам, к которым обратимся позже), что принадлежность к государству или принадлежность к нации (в значении общего гражданства при одном и том же территориальном управлении) есть составной элемент жизни национальности. Принадлежность к государству может и не быть обязательным условием возникновения национальности, но в таком случае (как, например, с чехами в конце XVIII века) всегда присутствует память о существовавшем государстве и стремление к государственности, что характеризует национальности в период национализма.

²⁷ Большое значение языка подчеркивал Георг Шмидт-Рор (*Schmidt-Rohr G. Die Sprache als Bildnerin der Völker. Jena, 1932*). Согласно его утверждению, языковое сообщество и есть настоящее национальное сообщество. Второе издание (1933) имело другое название: «*Muttersprache: Vom Amt der Sprache bei der Volkswendung*». Во вступлении автор извинялся за то, что его взгляды противоречили господствовавшей тогда расовой теории.

²⁸ См. пример недостаточности объективных характеристик (включая язык) для определения чьей-либо национальности в книге: *Macartney C.A. National States and National Minorities. London, 1934. P. 8 ff.* См. также: *Rothfels H. Ostraum, Preussentum und Reichsgedanke. Leipzig, 1935. S. 193.* Национальность в Восточной Европе – «это не только вопрос крови, но и исторических и культурных взаимоотношений».

Хотя некоторые из этих объективных факторов очень важны для формирования национальностей, наиболее принципиальный элемент – это живая и активная общая воля. Именно решение сформировать национальность создает ее. Так, французская национальность родилась из восторженного проявления воли в 1789 году. Французский народ, население Французского королевства, существовал и до этого момента. Предпринимались и попытки создать некоторые объективные условия, необходимые для основания национальности. Но только впервые пробудившиеся сознание и воля активизировали эти элементы, объединили их в источник безграничной центростремительной силы и придали им новое значение и важность²⁹. Английская и американская национальности были образованы «договорами», свободным волеизъявлением, а Французская революция использовала плебисцит, в результате которого принадлежность к национальности стала определяться не объективными характеристиками, а субъективной декларацией. Основание швейцарской национальности было запечатлено Фридрихом Шиллером в «Вильгельме Телле», в знаменитой легендарной клятве на Рютли: «Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern»³⁰. Эта мифическая декларация «Мы желаем быть единой нацией братьев» провозглашалась при рождении каждой нации, вне зависимости от того, возникала ли она в процессе долгой эволюции, в энтузиазме революции или в ходе непрерывной пропаганды, вызванной пробуждением масс. Национальности в качестве «этнографического материала», «прагматического» и случайного в истории существовали очень давно, но только пробуждение национального сознания активизировало их волю и превратило их в «абсолютные» факторы истории. Частое использование слова «национальность» не должно заслонить от нас тот факт, что именно недостаток волюнтаристического элемента и создает фундаментальное отличие между тем, что иногда называют национальностями до рождения современного национализма и современными националь-

²⁹ Определение Эрнеста Ренана в его обращении «Что такое нация?» широко известно: «Нация – это великая солидарность, основанная на ощущении жертвы, уже принесенной или такой, которую человек готов принести в будущем. Нация предполагает прошлое, она проявляет себя в настоящем одной осязаемой реальностью: сочувствием, ясно выраженным желанием продолжать жизнь общества. Существование нации – это ежедневный плебисцит» (*Renan E. Qu'est-ce qu'une nation? Paris, 1882. P. 27*). Этим определением Ренан поддержал требования Эльзаса и Лотарингии самостоятельно решать вопрос о своей национальной принадлежности. Важное значение, которое сам Ренан придавал этой речи, выражено в предисловии к его книге: «Обращение „Что такое нация?“ является той частью настоящего тома, которой я придаю наибольшее значение... В этом обращении – выражение моих убеждений в вопросах о человечестве, и я желал бы, чтобы эти двадцать страниц вспомнили тогда, когда современная цивилизация увязнет в фатальной двусмысленности этих слов: нация, национальность, раса» (*Renan E. Discours et Conférences. Paris, 1887*). Точка зрения немцев была также авторитетно заявлена Генрихом фон Трейчке: «Кто перед лицом обязанности обеспечить безопасность мира все же смеет возражать, что жители Эльзаса и Лотарингии не хотят принадлежать Германии? Перед священной обязанностью этих великих дней теория права на самоопределение каждой ветви немецкой расы – этот совращающий боевой клич эмигрировавших демагогов – будет с презрением растоптан. Эти провинции наши по праву меча; и мы будем управлять ими по высшему праву, по праву немецкой нации предотвратить постоянное отделение от Германской империи ее заблудших детей. Мы, немцы, которые знают и Германию, и Францию, лучше знаем, что является благом для эльзасцев, чем эти несчастные люди, которым в извращенных условиях французской жизни было отказано в возможности узнать правду о современной Германии. Мы хотим, даже против их воли, вернуть их им самим» (цит. по: *Zehn Jahre deutscher Kämpfe. Berlin, 1897. Bd. 1. S. 326 ff.*, перевод по: *Davis H.W.C. Political Thought of H. von Treitschke. London, 1914. P. 110 ff.*). Глубина чувств к Франции в Эльзасе была признана даже таким убежденным немецким националистом, как Макс Вебер, еще в 1912 году: «В подобных чувствах надо искать объяснение, почему эльзасец не считает себя частью немецкой национальности: его политическая судьба с давних пор протекала во внешнегерманских условиях. Его герои – герои французской истории. Если вы спросите хранителя Кольмарского музея, что из его сокровищ ему дороже всего, – он проведет вас от Грюневальдского алтаря в комнату с триколором, со шлемами Помпеи и прочих, и тому подобными памятными вещами явно ничтожного искусства, принадлежащего времени, которое означает для него героическое прошлое» (*Weber M. Verhandlungen des Zweiten Deutschen Soziologentages. Tübingen, 1913. S. 50*).

³⁰ По поводу характера швейцарской национальности см.: *Bluntschli J.K. Die Schweizer Nationalität // Gesammelte kleine Schriften. Nördlingen. 1879. Bd. I. S. 114–131*. Карл Хилти в своей работе «Доклады о политике Содружества» (*Hilty K. Vorlesungen über die Politik der Eidgenossenschaft. Bern, 1875*) подчеркнул тот факт, что природа, язык и кровь разделяют швейцарцев между собой, а соединяет их сознание национального единства, основанного не на крови и родственных узах. «Конфедерация поставила перед собой высокую цель – построить из различных племен, посредством благотворного смешения в едином общем бытии, новую собственную национальность, которая заставит забыть племенные различия [и будет] сильнее, чем естественная тяга к племенному родству».

ностями. Основывать национальность на «объективных» факторах, таких как раса, – значит возвращаться к примитивному племенному строю. В наше время власть идеи, а не зов крови формирует национальности.

Национальности творятся из этнографических и политических элементов, когда национализм вдыхает жизнь в форму, созданную предшествующими столетиями. Таким образом, национализм и национальность тесно взаимосвязаны³¹. Национализм есть образ мысли, присущий подавляющему большинству людей и претендующий на то, что он присущ все людям; он считает национальное государство идеальной формой политической организации, а национальность – источником творческой культурной энергии и экономического процветания. Высшая лояльность человека должна, таким образом, быть обращена на его национальность, так как предполагается, что его собственная жизнь тесно связана с благополучием национальности и в ней же укоренена. Короткий анализ компонентов этого определения поможет прояснить некоторые сложные вопросы.

Состояние ума подавляющего большинства. Даже до эпохи национализма можно найти индивидуумов, которые исповедовали чувства, сходные с национализмом. Но эти чувства всегда были индивидуальны; массы никогда не считали, что их жизнь – в культурном, политическом или экономическом аспекте – зависит от судьбы их национальной группы. Периоды гнета или опасности извне могут стимулировать чувство национализма в массах, как это случилось в Греции во время Персидских войн или во Франции в ходе Столетней войны. Но эти чувства быстро проходят. Как правило, войны, имевшие место до Французской революции, не возбуждали сильных национальных чувств. Во время религиозных и династических войн немцы воевали против немцев, а итальянцы против итальянцев, не осознавая «братоубийственной» природы этих действий. Солдаты и гражданские лица поступали на службу к «иностранным» правителям и зачастую служили им верно и преданно, что доказывает отсутствие всяких национальных чувств.

Национальное государство как идеальная форма политической организации. Совпадение политических границ с этнографическими или лингвистическими – требование современности. В прошедшие времена тот факт, что город, поместье или многоязычное государство были связаны воедино династическими узлами, считался приемлемой и даже

³¹ «Национальность вовсе не обязательно заключается в языке, религии или общем прошлом, но обязательно в воле народа. Выражение этой воли обычно происходит через синтез некоторых составных элементов, которые мы только что перечислили, а иногда и их всех. Тем не менее национальность может прекрасно существовать и без некоторых из них и даже может ограничиться одним элементом, самым существенным: волей» (*Michels R. Notes sur les moyens de constater la nationalité. The Hague, 1917. P. 1*). Сходным образом Арнольд Дж. Тойнби говорит о национальности, которая, «как все великие силы в человеческой жизни, не является чем-то материальным или механическим, но субъективным психологическим чувством живых людей. Это чувство можно зажечь под давлением одного или нескольких» факторов, таких как общая страна, язык или традиция (*Toynbee A.J. Nationality and the War. London, 1915. P. 13*). Франц Оппенгеймер выражает это кратко: «Мы должны не из нации выводить национальное сознание, а наоборот, из национального сознания – нацию» (*Oppenheimer F. System der Soziologie. Jena, 1923. Vol. 1. S. 644; ср. Sulzbach W. Begriff und Wesen der Nation // Die Dioskuren. München, 1923. Bd. II. S. 140*). Французский ученый предлагает сходное определение: «Будучи воспоминанием, национальность является идеалом; она является историей; но она еще и пророчество, творческое пророчество. Поэтому скажем, что национальность есть факт коллективного сознания, коллективное воля-бытие. Раса, религия, язык – все эти элементы являются или не являются факторами национальности в зависимости от того, входят они или нет в коллективное сознание» (*Hauser H. Le Principe des nationalités: Ses origines historiques. Paris, 1916. P. 7*). Некоторые авторы подчеркивают тот факт, что воли к формированию национальности недостаточно, особенно если речь идет об очень маленьких группах: «Коллективного воли-бытия недостаточно, необходимо еще и коллективная власть-бытие» (*Lavergne B. Le principe des nationalité et les guerres. Paris, 1911. P. 29*). Принцип национальности, основанный на национальном сознании, подчеркивался в итальянском Рисорджименто. Граф Теренцио Мамияни делла Ровере сделал национальность основой объединения людей: *Mamiani della Rovere T. Dall'ottima congregazione umana e del principio di Nazionalità // Mamiani della Rovere T. D'un nuovo diritto Europeo. Turin, 1859*. Паскуале Станислао Манчини, позднее министр иностранных дел Италии, вступая в 1851 году в должность в Университете Турина, в своем обращении «*Deila Nazionalità come fondamento del diritto delle genti*» указывал, что раса, язык, кровь, обычаи и история суть не более чем инертная материя, в которую только национальное сознание (*conoscenza della nazionalità*) вдыхает жизнь. Национальность для него – это коллективная свобода, а поэтому она «священна и божественна, как сама свобода».

«естественной» и идеальной формой политической организации. В другие периоды истории образованные классы, так же как и народные массы, верили в идеал универсального мирового государства, хотя технически и географически этот идеал оставался недостижим.

Национальность как источник культурной жизни. На протяжении почти всей истории религию рассматривали как истинный источник культурной жизни. Считалось, что человек становился творцом через глубокое погружение в религиозную традицию, через отречение от мирского в этом священном источнике. В определенные исторические периоды образованных людей считали особой цивилизацией, которая пересекала национальные границы, наподобие цивилизации рыцарства в средневековой Европе или культуры французского двора в XVII и XVIII веках. Во времена Просвещения и после него образование произрастало на почве классической цивилизации. Образование и просвещение как инструменты формирования человеческого ума и характера не были связаны национальными границами.

Национальность как источник экономического благосостояния. Эта фаза национализма, так же как и политическая, была подготовлена периодом абсолютной монархии, его меркантилизмом. Но меркантилизм так и остался схемой, навязанной сверху, попыткой достичь национального единства, к которому он на самом деле и не приблизился, продолжая средневековую неразбериху и разрушение экономической жизни и оставляя провинции, города и деревни центрами производства. Целью меркантилизма было усиление государства и его власти в международной политике. Система меркантилизма в период *laissez faire* ставила своей целью индивидуальное благосостояние. Экономический национализм привел к возникновению неомеркантилизма, наполнив жизнью форму, созданную монархами, так же как и в случае с централизованным государством. Экономический национализм возникает гораздо позже, чем политический или культурный национализм. Он исходит из того, что благосостояние индивидуума может быть достигнуто и обеспечено только экономическим могуществом нации. Тесная политическая и культурная самоидентификация индивидуума со своей национальностью, которая проявилась в конце XVIII – начале XIX века, распространилась на экономическую сферу только ко второй половине XIX столетия.

Высшая степень лояльности по отношению к национальности. Австрийскую монархию признавали только до тех пор, пока существовала преданность легитимному монарху; она пошатнулась тогда, когда объект лояльности сменился – от правящей династии к национальности. Всего лишь несколько столетий назад церковь и религия требовали высшей степени преданности от человека; еретик преступал границы общества так же, как сейчас это делает «предатель» своей нации. Требование высшей степени преданности по отношению к национальности стало вехой, отметившей наступление эпохи национализма.

4

Национализм – это образ мысли. Можно представить исторический процесс как последовательность изменений в психологии общества, в отношении человека ко всем проявлениям частной и общественной жизни. Относительная ценность таких факторов, как язык, территория, традиции, таких чувств, как привязанность к родной земле, *Heimat*, к своим родным и роду, меняется вместе с изменениями в психологии общества. Национализм – это идея, *idée-force*, которая наполняет человеческий разум и сердце новыми мыслями и чувствами и побуждает человека к организованным действиям. Поэтому национальность – не просто держащаяся вместе и воодушевленная общим сознанием группа, это также группа, стремящаяся выразить себя в том, что она считает высшей формой организованного действия, – в суверенном государстве. Пока национальность не способна достичь этой цели, она удовлетворяется какой-либо формой автономии или протогосударственности, которая, тем не менее, всегда стремится в определенный момент, в момент «освобождения», перера-

сти в независимое государство. Национализм требует национального государства; создание национального государства укрепляет национализм. Здесь, как и всегда в истории, мы видим взаимозависимость и взаимодействие.

«Национальность – способ мышления, соответствующий политической реальности»³² или стремящийся ей соответствовать. Это определение отражает генезис национализма и современной национальности, родившейся из слияния определенного образа мысли и данной политической формы. Этот способ мышления, эта идея национализма наполнили форму новым содержанием и значением; форма дала идее возможности организованного выражения своих проявлений и стремлений. И идея, и форма национализма сформировались до эпохи национализма. Идея присутствовала у древних евреев и греков, обнаруживается она и в Европе эпох Просвещения и Реформации. В период Ренессанса интеллектуалы вновь открыли греко-римский патриотизм; но это новое чувство не распространилось в массы, а его секуляризм вскоре был искоренен повторной теологизацией Европы в ходе Реформации и Контрреформации. Но Реформация, особенно в форме кальвинизма, оживила национализм Ветхого Завета. Благоприятные условия, сложившиеся в Англии, способствовали возникновению нового национального сознания, представлявшего англичан Божьим народом и объединившего всю нацию во время революции XVII века. Тем временем в Западной Европе новая политическая власть – власть абсолютного монарха – создала новую политическую форму, современное централизованное суверенное государство; и именно в эту политическую форму во времена Французской революции влилась идея национализма, наполняя ее сознанием, которое могли разделить все граждане, и осуществляя политическую и культурную интеграцию масс в нацию. С пришествием национализма массы больше не были частью нации, они стали принадлежать нации. Они идентифицировали себя с нацией, цивилизацию – с национальной цивилизацией, а собственное выживание увязывали с выживанием национальности. С тех пор национализм руководил действиями и установками масс и одновременно служил оправданием государственной власти и использования государством силы как против своих собственных граждан, так и против других государств.

Суверенность имеет двоякое значение. Один ее аспект касается отношений государства со своими гражданами, другой – отношений между государствами. Аналогично, чувство национализма проявляется двояко. Внутри нации оно ведет к установлению живой симпатии между всеми ее членами; вовне оно выражается в равнодушии или недоверии к людям, находящимся вне национальной орбиты. Во внутринациональных отношениях люди руководствуются не только общими интересами, которые считаются постоянными, но также чувствами взаимной симпатии, обожания и даже готовности к самопожертвованию. В межнациональных отношениях они исходят из предполагаемого отсутствия общих интересов у различных государств и руководствуются чувствами от равнодушия до сильнейшей антипатии. Национальность, которая есть не что иное, как часть человечества, тщится строить из себя все человечество. Обычно до этого заключения не доходят, поскольку идеи, возникшие еще до эпохи национализма, продолжают оказывать свое влияние и сегодня. Эти идеи определяют саму сущность западной цивилизации, сформированной христианством и рационализмом Просвещения; веру в единство человечества и непреходящую ценность индивидуума.

Только фашизм, бескомпромиссный враг западной цивилизации, подтолкнул национализм к той самой черте, к тоталитарному национализму, в котором человечество и индивидуум растворяются и не остается ничего, кроме национальности – единственной и единой.

³² *Zangwill I. The Principle of Nationalities. London, 1917. P 39.* Макс Вебер определяет национальность как «общие узы чувства, адекватным выражением которого было бы собственное государство и которое поэтому стремится породить такое государство». См. также: *Zimmern A.E. Nationality and Government, and Other War-Time Essays. London, 1918. P. 52.*

5

Каждый исторический период характеризуется определенным набором человеческих симпатий. Этот набор непостоянен, а его изменения сопровождаются великими кризисами истории (обозначая смену периода). В Средние века население Иль-де-Франс питало сильную антипатию и презрение к жителям Аквитании и Бургундии. Еще недавно похожая антипатия существовала и в Египте между последователями Мухаммеда и местными христианами-коптами. В древности афиняне ненавидели и презирали спартанцев. Почти непреодолимый барьер разделял членов конкурирующих религиозных сект внутри общества. В Китае до недавнего времени чувства симпатии ограничивались семьей и лишь малая толика лояльности и любви доставалась нации или другой большей, чем семья, социальной группе.

Начиная с XIX века в западном мире и с XX века на Востоке круг симпатий стал определяться национальностью. Во многих случаях эти изменения повлекли за собой возникновение новых разделительных линий. Объединение людей в новые формы организации, их интеграция вокруг новых символов получили невероятный для прежних времен импульс. Быстрый рост населения, распространение образования, нарастающее влияние масс, современные информационные и пропагандистские технологии сообщили новому чувству национальности высокую интенсивность, которая очень быстро начала восприниматься как выражение чего-то «естественного» и извечного. Но это не означает, что сегодняшний круг симпатий не изменится в будущем. С трансформацией социальной и экономической жизни, с ростом взаимозависимости всех национальностей на земле, которая становится все «теснее», с изменением направленности образования этот круг может расшириться настолько, что включит в себя сверхнациональные общие интересы и взаимную симпатию.

Такое распространение солидарности, если оно вообще возможно, произойдет только в результате беспрецедентной борьбы, поскольку национализм выражает «законные интересы», не только политические и экономические, но также интеллектуальные и эмоциональные, с такой напряженностью, какой не наблюдалось ни у одной предыдущей идеи. Перед всемогуществом национальности единое человечество кажется далекой идеей, бледной теорией, поэтической мечтой, в которой не пульсирует красная кровь жизни. Так оно и есть. Но ведь когда-то идея французской или немецкой нации была также не более чем абстрактной идеей. После долгого периода великих сражений и потрясений исторические силы оживили эту идею. Единое человечество было утопией XVIII века; уровень развития государства и экономики, технологии и коммуникаций не соответствовал тогда этой задаче. Сегодня все изменилось. В настоящее время национализм – изначально вдохновляющая идея, которая расширяла и углубляла понимание человеческой природы, чувства солидарности, независимости и достоинства масс – кажется неспособным справиться, политически и эмоционально, с новой ситуацией. Когда-то он был великой силой жизни, стимулирующей эволюцию человечества; сегодня он может превратиться в мертвый груз на шагающем вперед человечестве.

Ни немецкая, ни французская нации не являются организмами более «природными», чем американская нация. Все они, так же как и национальное сознание, оживляющее их, были сформированы историческими силами³³. В своем развитии и немецкое национальное сознание, и немецкое национальное государство преодолевали неисчислимые трудности и снова и снова подвергались угрозе крушения на рифах политических интересов, инерции древних и чтимых традиций и укоренившегося местничества и провинциализма. Пионеры национализма зачастую переставали верить в возможности достижения своей цели. Но

³³ Ганс Делбрук обращает внимание на то, что в случае с *deutsches Volk* (немецким народом) мы имеем дело «не с естественно данной, но с возникшей в ходе истории структурой» (*Delbrück H. Regierung und Volkswille. Berlin, 1914. S. 3 ff.*).

национализм, наполняя сердца людей великой надеждой на новую свободу и лучшие, более гуманные отношения между людьми, победил. Сегодня ситуация изменилась. «Политический национализм в современных условиях противоречит основным тенденциям человеческого развития от изоляции к взаимозависимости. Его цель – не служение и взаимодействие, но исключительность и монополия»³⁴. Индивидуальная свобода человека должна в наши дни основываться на вненациональной основе. Демократия и индустриализм, две силы, возникшие одновременно с национализмом и распространившиеся с ним по всему миру, уже переросли к сегодняшнему дню национальное сознание.

Но «тридцатилетняя война» XX века продемонстрировала, насколько глубоко окопался национализм. Национальное государство обладает большей эмоциональной притягательностью, чем любая предыдущая политическая организация. Рост национализма повлиял на историографию и философию истории, и каждая нация составила свою собственную интерпретацию истории, которая не только позволяет ей чувствовать себя особенной по сравнению с другими национальностями, но также придает этому отличию фундаментальное, даже метафизическое значение. Нация чувствует, что она избрана для какой-то особой миссии и что осознание этой миссии необходимо для развития истории и даже для спасения человечества. Культурная и эмоциональная жизнь масс тесно интегрировалась в политическую жизнь посредством отождествления нации и государства (теоретический базис для которого был предложен Руссо). Поэтому любые изменения в принципах политической организации встретят сильнейшее сопротивление, которое, невзирая на соображения рационального и универсального блага, будет апеллировать к глубоко укоренившимся традициям.

Социологи указали на близость национализма и религиозного движения. «Они оба – фундаментально культурные движения с побочными политическими последствиями»³⁵. Эти последствия, тем не менее, не случайны; скорее они обусловлены определенными стадиями исторического развития. В определенный период истории религия – по существу, духовное движение – имела серьезные политические последствия. Она формировала и политику, и общество, в котором доминировала. Сейчас то же самое можно сказать про национализм. Когда бесконечные жестокие религиозные войны угрожали разрушением человеческого счастья и цивилизации, движение Просвещения, волна рационализма, возникшая около 1680 года и господствовавшая на протяжении XVIII века, готовили деполитизацию религии. В этом процессе религия не потеряла своего истинного достоинства; она осталась одной из великих духовных сил, утешающих и возвышающих человеческую душу. Но она утратила элемент насилия, который был присущ ей на протяжении многих столетий; ее связь с государством, с политической властью была ограничена; религия отступила в область интимности и спонтанности индивидуального сознания. Процесс деполитизации религии шел медленно. Потребовалось два столетия после появления «Кровавого Узника Совести...», опубликованного Роджером Уильямсом в 1644 году, чтобы хотя бы в Западной Европе эта тенденция получила общее признание. Можно представить себе сходную деполитизацию национализма. Он может потерять свои связи с политической организацией, остаться интимным и трогательным чувством. Если этот день когда-либо придет, эпоха национализма – в том значении, в котором она здесь понимается, – закончится.

В эпоху национализма нации выступают в качестве великих корпоративных деятелей истории; несовпадения национальных характеров и точек зрения задают ход исторических

³⁴ *Herberts. Nationality and Its Problems. P. 161.* Лорд Актон забил тревогу по поводу политического национализма очень рано, см.: *Acton J. The History of Freedom and Other Essays. London, 1907. P. 270–300.* С точки зрения экономики см.: *Batten E. Nationalism, Politics, and Economics. London, 1919; Mitscherlich W. Nationalstaat und Nationalwirtschaft und ihre Zukunft. Leipzig, 1916.* Призыв лорда Актона в защиту мультинациональных государств был поддержан Карлом Реннером: *Renner K. Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf Oesterreich. Vienna, 1918. Vol. I: Nation und Staat. S. 29.*

³⁵ *Burgess E.W., Park R.E. Introduction to the Science of Sociology. Chicago, 1924. P. 931.*

событий. Только в это время воля наций – более, чем воли индивидуумов, династий или вненациональных организаций, таких как церковь или классы, – приобретает решающее влияние; поэтому для осознания собственной истории требуется феноменология наций и их характеров. Эти характеры не определены исторически или биологически, они также не являются постоянными на протяжении времени; они – продукт социального и интеллектуального развития, бесконечного разнообразия поведения и реакций, многие из которых с трудом различимы в потоке прошлого, из которого историк выбирает то, что ему кажется существенным и характерным. В то время как формирование национальных характеров наблюдалось на протяжении многих столетий, их кристаллизация произошла в эпоху национализма. В западном мире, в Англии и Франции, в Нидерландах и Швейцарии, в Соединенных Штатах и в сфере британского влияния, подъем национализма был в основном политическим явлением; ему предшествовало формирование национального государства или, как в случае с Соединенными Штатами, совпадало с ним. За пределами западного мира, в Центральной и Восточной Европе и в Азии национализм возник не только позднее, но и на более низком уровне социального и политического развития: границы существующего государства и поднимающейся национальности редко совпадали; национализм там развивался в противоречии и в конфликте с существовавшей формой государства. Национализм стремился не столько создать народное государство, сколько передвинуть политические границы в соответствии с этнографическими требованиями.

По причине отсталого состояния политического и социального развития этот поднимающийся за пределами западного мира национализм в первую очередь проявился в культурной сфере. Вначале он был мечтой ученых и поэтов, не поддержанный общественным мнением; мечтой, которая не существовала в реальности и которую ученые и поэты старались создать – на уровне образования и пропаганды, но вряд ли в политике и правительстве. В то же время растущий национализм и все социальное и интеллектуальное развитие за пределами Западной Европы находились под влиянием Запада, долгое время служившего моделью развития. Именно эта зависимость от Запада со временем начала уязвлять гордость местных образованных классов, как только они начали формировать свой собственный национализм, что закончилось противостоянием «чужеродному» образцу с его либерализмом и рационализмом.

Каждый новый национализм, получая первоначальный импульс от культурного контакта с другим, более старшим национализмом, искал обоснования и подтверждения своей уникальности в собственном прошлом, в простоте и древности собственных традиций, противопоставляя их западному рационализму и универсальным стандартам. Национализм на Западе возник в связи с попыткой построения нации в условиях современной политической реальности; он не придавал особого значения сантиментам по отношению к прошлому. Националисты в Центральной и Восточной Европе часто использовали мифы прошлого и мечты о будущем для создания идеала отчизны, тесно связанного с прошлым, лишенного всякой непосредственной связи с настоящим. Ожидалось, что когда-то этот идеал станет политической реальностью. Таким образом, реальность не служила ограничителем для националистов, приписывавших идеалу различные качества, за реализацию которых они не несли ответственности. Но эти качества повлияли на нарождающийся образ нации и понимание ее «миссии». В то время как истоки западного национализма следовало искать в концепциях индивидуальной свободы и рационального космополитизма, характерных для XVIII века, более поздний национализм Центральной и Восточной Европы, а также Азии развивался в противоположном направлении. Этот новый национализм зависел от внешних воздействий и в то же время противодействовал им; он не был укоренен в политической и социальной реальности, ему не хватало достоверности; его комплекс неполноценности зачастую компенсировался подчеркнутой самонадеянностью, свой собственный национализм казался

националистам в Германии, России или Индии чем-то неизмеримо более глубоким, чем национализм Запада, а потому обладающим большим потенциалом. Поиск значения немецкого, русского или индийского национализма, размышления о «душе» и «миссии» нации, нескончаемая дискуссия об отношениях с Западом – все это стало характеристикой новой формы национализма.

Национализм на Западе основывался на национальности, которая являлась продуктом социальных и политических факторов; национализм в Германии не основывался на рациональной социальной концепции, он нашел себе подтверждение в «естественной» реальности общества, объединенного не волей его членов и не обязательствами контракта, но традиционными связями родства и положения. Немецкий национализм заменил правовую и рациональную концепцию «гражданства» несравненно более размытой концепцией «народа», которая, впервые употребленная немецкими гуманистами, была позднее детально разработана Гердером и немецкими романтиками. Эта концепция будила воображение и возбуждала эмоции. Казалось, ее корни уходили в глубину примитивных времен и прорастали тысячами ростков бессознательного развития, не освещенного ярким светом рациональных политических целей. «Народ» уподоблялся силам природы и был окутан мраком таинственности³⁶. Несовпадение концепций нации и национализма явилось историческим следствием неодинакового влияния Ренессанса и Реформации на Германию и на Западную Европу.

На Западе Ренессанс и Реформация создали новое общество, в котором средний класс и светское образование приобретали растущее влияние, а римская универсальная имперская концепция Средневековья была забыта не только в жизни, но и в теории. Но эта средневековая идея мировой империи задержалась в Центральной и Восточной Европе и даже набрала силу благодаря исследованиям старины. Ренессанс и Реформация не смогли сильно изменить политический и социальный порядок в Германии; они остались чисто научными и теологическими событиями. И уже совсем не затронутыми Ренессансом и Реформацией оказались Россия и Ближний Восток, в результате чего существовавший с древности разрыв между Западной и Восточной империей еще более углубился. Московским князьям XVI века представлялось, что цель русской истории, подобно римской, – «объединение в одно органичное целое различных наций Востока и Запада». Указ 1589 года об учреждении Патриаршества Московского констатировал: «Старый Рим разрушен из-за ереси Аполлинария, а второй Рим, который есть Царьград, находится в руках безбожников турков, твое великое царство, о боголюбивый царь, есть третий Рим»³⁷.

В то время как на Западе универсальная традиция исчезла, а на Востоке она начала приобретать политически эфемерное, хотя и метафизически более прочное существование, Германия, находящаяся в центре континента, казалось, колебалась между Западом и Востоком, между сплочением в национальное государство и все еще влиятельной традицией мировой империи. Выживание этой традиции в Германии обеспечивалось комплексностью и иррациональностью устройства империи, нечеткостью ее границ и неопределенностью ее амбиций. Италия и Бургундия на юге и западе, Богемия, Венгрия и другие земли на востоке часто рассматривались как часть Империи и, следовательно, как потенциальное немецкое жизненное пространство. Современный немецкий историк Генрих фон Србик хорошо сформулировал эту вечную мировую мечту: в немцах он видит избранных носителей мировой имперской

³⁶ «Западный национализм... уравнивал нацию и общество, т. е. он уже поместил понятие национальности вне природных сил. Принадлежащие к данной нации чувствуют себя дома лишь в своей культуре. Немецкий национализм абсолютизировал связи между созданным гуманистами понятием „народности“ и немецкой философией государства, придав последней направление, которое в конце концов отделилось от западного хода развития» (*Joachimsen P. Zur historischen Psychologie des deutschen Staatsgedankens // Die Dioskuren. München, 1922. Vol. I. S. 115, 139.*)

³⁷ *Zetov N. Moscow the Third Rome. London, 1937. P. 47, 49.* Обратный перевод известного текста «Филофеева корпуса», цитируемый Коном по англоязычной работе Николая Зернова. Ссылка на грамоту об учреждении патриаршества ошибочна. – *Примеч. пер.*

идеи и горько сожалеет, что в XVI веке немцы повернулись к самим себе, оставив дух экспансии и колонизации, который в Средние века являлся могучим основанием их мировой империи³⁸.

В XVII веке социальная и политическая основа, на которой мог бы вырасти современный немецкий национализм, еще более ослабела. В то время как в Западной Европе религия стала ведущей силой в пробуждении современного политического и социального сознания, немецкое лютеранство³⁹ вело к политической пассивности: немцев устраивало положение подданных, они не пытались стать гражданами. Религиозная пропасть разделила страну на две части, все более отличающиеся друг от друга с течением времени; католики и протестанты выступали как противники на полях сражений на протяжении полутора столетий, а теологизация всего жизненного уклада привела к прекращению всяких культурных контактов, в результате интеллектуальная жизнь католиков и протестантов развивалась независимо друг от друга. Обе церкви беспрекословно поддерживали князей, а точнее, своих князей; новые централизованные княжества неизбежно укреплялись в оппозиции к проявлениям немецкого национализма, который могла бы представлять только Империя, чьи средневековые основания более не соответствовали изменяющимся социальным и политическим реалиям.

Имперское рыцарство и свободное крестьянство – последние социальные силы, связывавшие свои устремления с империей, – к 1550 году потерпели поражение и с тех пор утратили свое влияние. С социальной и экономической точки зрения они не были прогрессивными силами; они оглядывались назад, на идеалы и реалии XIII века, на средневековые свободы, которые они хотели бы возродить. Вскоре после того, как немецкие свободные имперские города стали приходить в упадок, городские сословия на Западе начали приобретать беспрецедентное социальное и политическое влияние. В Германии же новые социальные силы укреплялись медленно и болезненно. Они более не были связаны с империей. Их политической средой было территориальное государство, чей авторитет подкреплялся Реформацией. Так как общественное мнение было целиком и полностью поглощено теологическими вопросами, территориальное разделение религии стало еще одним препятствием для возможного национального единения. Мирный договор 1648 года стал вехой в распаде универсальной имперской идеи и Германии как ее носителя⁴⁰.

В то время как имперская идея не находила поддержки во владениях католиков Габсбургов, новые интеллектуальные концепции и формы общества возникали на севере. Две независимые и зачастую враждебные друг другу силы – образованный класс и правители

³⁸ Гейнрих Риттер фон Србик называет немецкий народ избранным носителем мировой имперской идеи. «Когда мировая империя Карла V вынуждена была остаться без единой и могучей немецкой основы, тогда и началась внутренняя, заключенная в себя самая и ограниченная унаследованными поселениями жизнь величайшего народа-колонизатора Средневековья, [а вместе с ней и] экономический и мыслительный застой, недостаток мужества, взлет индивидуалистической и партикуляристской мысли и потеря себя в конфессиональной борьбе» (*Srbik H.R. von. Deutsche Einheit. München, 1935. Bd. I. P. 36, 49*).

³⁹ «Из лютеранства происходит (по крайней мере, отчасти) стремление немцев, обладающих чисто духовной свободой, не столько искать политической свободы, сколько слепо доверять начальству, полагаться больше на „сознательность“ правящих, нежели на политически организованный контроль за правящими. По-настоящему лютеранским является стеснение немецкой духовности и боязнь слишком активного вмешательства в политику, немецкая знаменитая тяга к миру иному. Поскольку германским лютеранским церквям никогда не приходилось, подобно западноевропейским кальвинистам, бороться за собственное политическое влияние и поскольку политическая жизнь их территориальных государств находилась по меньшей мере в застое, у лютеранских церквей отсутствовало естественное стремление к собственно политической активности; именно отсюда и из ограниченности мира маленьких немецких территориальных государств происходит известная политическая пассивность немецкого лютеранства» (*Ritter G. Die Ausprägung deutscher und westeuropäischer Geistesart im konfessionellen Zeitalter // Historische Zeitschrift. Bd. CXLIX (1929). № 2. S. 247 ff.*).

⁴⁰ Национал-социалистическая Германия хотела в качестве первого шага разорвать мирный договор 1648 года. См.: *Koop F., Schulte E. Der Westfälische Frieden. München, 1940. Шиллер высоко оценивает этот договор в своем прологе к «Лагерю Валленштейна».*

Пруссии⁴¹ – играли решающую роль в формировании современной Германии. Образованный класс был тесно связан с лютеранским пасторатом, к которому принадлежало большинство его представителей. Их интеллектуальная жизнь – хотя иногда смелая и инициативная в отношении внутреннего мира человека – оставалась чуждой политической реальности и невосприимчивой к социальной ответственности. Они не признавали общественное мнение как важный фактор государственной жизни, они никогда не мечтали о политическом влиянии и не стремились к нему. В лучшем случае они могли быть сознательными слугами князей, но никогда не критиковали их и не руководили ими. В то время как в интеллектуальном плане они находились под влиянием западной мысли, их общественное поведение оставалось не затронутым ею. *République des lettres* Запада, так же как в греческой Античности, будучи политическим сообществом, являлось важной составной частью национальной структуры; *Gelehrtenrepublik* существовала вне политики, на обочине общества, не оказывая на него никакого влияния. Она существовала в государстве, но не была государственной, и само ее существование в государстве являлось второстепенным: никакие узы не связывали ученого с княжеством, кроме факта проживания. Княжество, *Fürstenstaat*, принадлежало князю. Несмотря на то что Гогенцоллерны в Бранденбурге и Пруссии (яркие представители немецких владетельных князей) вели значительную созидательную работу, рациональное строительство, вдохновленное идеями английских и французских философов о пользе и морали (в чем проявлялась их зависимость от Запада, подобная зависимости образованного класса), все же и здесь общественная организация оставалась по духу и отношению чуждой Западу. Образованный класс и прусские принцы действовали независимо, между ними отсутствовало взаимопонимание и они не были способны оценить взаимные заслуги по достоинству. Лишь в начале XIX века началось сотрудничество и слияние образованного класса и знати. Это стало возможным благодаря живительному воздействию Французской революции, при помощи нового понятия «народ» (*volk*) – наследия самого яркого и творческого из немецких эрудитов-националистов, Иоганна Готтфрида Гердера...

⁴¹ Австрия и Пруссия стали центрами немецкой политической жизни. В обеих странах «национальный принцип мог быть только колонизаторским, существование его зависело от положения [немцев как] господ по отношению к славянству» (*Joachimsen P. Zur historischen Psychologie des deutschen Staatsgedankens // Die Dioskuren. München, 1922. Vol. I. S. 156*).

Роджерс Брубейкер Мифы и заблуждения в изучении национализма⁴²

Лишь короткое запоздание отделяет всплеск национализма в Восточной Европе и в других частях света от еще более мощного всплеска интереса к изучению национализма. Став «жгучим вопросом», национализм стремительно переместился с первых страниц газет на страницы журналов, с периферии – и зачастую с отдаленной периферии – в центр многочисленных научных дисциплин и субдисциплин. Эта новая важность национализма неоднозначна. С одной стороны, твердый спрос на знание о национализме (и «рецепты» от него) дает новые возможности, предоставляет ресурсы и гарантирует внимание к теме. С другой стороны, стремительное ее расширение стимулирует появление аналитически примитивных подходов к изучению национализма⁴³, угрожая размыть (или просто потеснить, учитывая объем новой литературы) аналитические достижения солидных работ таких ученых, как Бенедикт Андерсон, Джон Армстронг, Джон Брейли, Эрнест Геллнер, Энтони Смит и других⁴⁴.

В настоящей работе предполагается обратиться, выражаясь словами Чарльза Тилли, к шести «опасным постулатам», шести мифам и заблуждениям, распространившимся благодаря головокружительному расширению объема литературы и квазилитературы по предмету, которая оставляет свой след (зачастую негативный) в изучении этничности и национализма⁴⁵. Хотя эмпирические данные, которые я использую в этой работе для доказательств и примеров, получены в результате изучения ситуации в посткоммунистической Центральной и Восточной Европе, теоретическая дискуссия, в которой эти примеры используются, относится к изучению национализма в целом⁴⁶.

Никому разрушение мифов не доставляло большего удовольствия, чем Эрнесту Геллнеру, и никто не делал этого с большим мастерством; язвительность, с которой он разоблачал мифы самих националистов – так же как и другие мифы, – является ярким тому примером. Поэтому мне хотелось бы думать, что настоящая работа является геллнерианской по духу. Тем не менее это не работа о геллнеровской теории национализма; я коснусь ее

⁴² Автор выражает благодарность Жуже Беренд, Маргит Фейшмидт, Йон Фокс, Марку Грановеттеру, Джону Холлу, Виктории Коротеевой, Питеру Левенбергу, Джону Мейеру, Ласло Немени, Маргарет Сомерс, Петеру Стаматову, Дэйвиду Старку и Рональду Суни за комментарии и советы.

⁴³ Частичный список будет включать в себя исследования по международным отношениям и безопасности (поскольку окончание холодной войны заставило переосмыслить понятия «безопасность» и «угроза»); политологию (так как изучение национализма распространилось из своей традиционной области, сравнительной политологии, в более теоретически амбициозные, сознательно «научные» области науки о политике); теорию рационального выбора (в социологии и политологии); антропологию (так как она все более концентрируется на сложных, «современных» обществах); социологию (особенно учитывая «культурный поворот» сравнительной, исторической и политической социологии); этнографию (с частичной конвергенцией литературы по этничности и национализму); культурологию; сравнительное литературоведение; историю искусства; гендерные исследования; музыкологию и различные региональные исследования, включая яркий пример научной перестройки, постсоветские и восточноевропейские исследования.

⁴⁴ В области постсоветских исследований научные работники, неотягощенные не только минимальным знакомством со специальной сравнительной и теоретической литературой в данной области, но и с более общей теоретической и эмпирической литературой общественных наук, поспешно конвертировали свой интеллектуальный капитал, неожиданно обесцененный концом холодной войны, в новые формы, например, переключившись с исследований вооружений на этнические и национальные конфликты в рамках изучения проблем безопасности. В других областях, далеких от традиционного исследования национализма, восприятие исторической и социологической литературы по национализму было очень выборочным.

⁴⁵ Например: *Anderson B. Imagined Communities. London, 1991; Armstrong J. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982; Breully J. Nationalism and the State. Manchester, 1982; Gellner E. Nations and Nationalism. Oxford, 1983; Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.*

⁴⁶ *Tilly C. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. N.Y., 1984.*

лишь между прочим. Геллнер подходил к изучению национализма с олимпийской дистанции, помещая возникновение и развитие национализма во всемирно-историческую перспективу. Мои задачи в этой работе гораздо менее глобальны и напрямую не затрагивают аргументов Геллнера.

Я начну с разбора двух взаимно противоположных оценок степени сложности и «разрешаемости» национальных конфликтов. Первый взгляд – «архитектоническая иллюзия» – состоит в убеждении, что правильная «масштабная архитектура», верные территориальные и институциональные рамки, могут удовлетворить запросы националистов, утихомирить националистические эмоции и таким образом разрешить национальные конфликты. Большинство концепций «масштабной архитектуры» обращают внимание на предполагаемое право национального самоопределения или на родственный «принцип национальности». В этой связи я хотел бы возразить, что националистические конфликты в принципе, по природе своей, неразрешимы и что поиск всеобщего, «архитектурного» разрешения национальных конфликтов является заблуждением.

В резкой оппозиции к старательному оптимизму первой теории находится тяжелый пессимизм второй. Это так называемая теория «парового котла», объясняющая возникновение этнических и национальных конфликтов. Эта теория видит всю Восточную Европу (и многие другие регионы) погруженной в беспросветную ситуацию, представляющей собой что-то вроде «парового котла», в котором постоянно дымится этнический и национальный конфликт, неизменно переходя в состояние кипения, в насилие. В более общих чертах эта теория считает национализм главной проблемой таких регионов и предполагает, что национальные идентичности там чрезвычайно сильны и заметны. Вопреки этому я утверждаю в данной работе, что этнонациональное насилие в этих регионах не превалирует и вряд ли будет превалировать, как часто полагают; что национальное чувство там гораздо слабее, национальная идентичность менее проявлена и националистическая политика не так уж и актуальна, как это зачастую предполагается.

Теория «манипуляции элит», в свою очередь, категорически отрицает примордиалистское понимание национальности (*nationhood*)⁴⁷, которое часто сопровождает теорию «возвращения подавленного» и отказывается рассматривать национальную идентичность и национальные конфликты как глубоко укорененные исторически. Этот подход считает национализм продуктом беспринципного манипулирования со стороны элит, которые цинично подогревают националистические эмоции по собственному усмотрению. Соглашаясь, разумеется, с тем, что беспринципные элиты действительно часто пытаются возбуждать националистические чувства, я хочу возразить, что положение элит не всегда позволяет

⁴⁷ В английском тексте автор использует неологизм *nationhood*, сознательно созданный в качестве аналитической категории отвлеченного порядка. Это языковое творчество является частью исследовательской позиции Роджерса Брубейкера, который подчеркивает семантическую напряженность между категориями практики (политики, общественной деятельности, публичных дискурсов) и категориями анализа и старается дистанцировать аналитический язык от языка политики и повседневной жизни. Понятие *nationhood* (образовано прибавлением суффикса *hood*, обозначающего состояние, положение, качество, к *nation*) сходно с понятием-неологизмом Бенедикта Андерсона – *nationness* (образовано прибавлением суффикса *ness*, обозначающего состояние и качество, к *nation*). И то и другое понятие передает отвлеченный и неопредмеченный характер состояния национального как способа полагания социально-политической реальности и формы организации социальных и политических отношений. В отличие от понятия Андерсона понятие Брубейкера, как его определяет сам автор, в большей степени подчеркивает проявленность борьбы за определение границ и характера предполагаемой нации, а равно и за то, чтобы национальная рамка стала единственной когнитивной рамкой социальной и политической жизни. При переводе этого понятия на русский язык было принято решение не создавать неологизма на русском языке (например, «национность»), но использовать понятие «национальность» в его первоначальном значении. Как и «государственность», понятие «национальность» в XIX веке имело собирательный и отвлеченный характер, далеко не обязательно подразумевая реальное социальное тело с определенными границами. В некоторых случаях вместо понятия «национальность» переводчик использовал такие понятия, как «национальная рамка» или «рамка национального сообщества», стремясь предотвратить опасность автоматической ассоциации термина Брубейкера с его конвенциональным значением в современном русском языке. – Примеч. ред.

осуществлять подобное манипулирование и что рассматривать национализм в чисто инструментальных терминах, заостряя внимание только на действиях элит, подсчитывающих собственные выгоды, – это ошибка.

Пятую теорию я называю «реализмом группы». Основываясь на «групповой» социальной онтологии, этот подход считает нации и этнические группы реальными сущностями, действительными, длящимися во времени коллективами с четко очерченными границами. Согласно этому взгляду, социальный мир состоит из внутренне гомогенных и внешне отграниченных культурных блоков, подобно полотну Модильяни (заимствуя образ, использованный Геллнером). На мой взгляд, это видение социального мира, стилизованное под полотно Модильяни, является глубоко проблематичным. Этнические и национальные группы сложно представить себе как внешне резко отграниченные и внутренне культурно гомогенные блоки.

В заключение я рассмотрю «манихейский» подход, сторонники которого утверждают, что существуют, в конечном итоге, лишь два типа национализма: хороший (гражданский) и плохой (этнический); и, соответственно, две концепции национальности (nationhood): хорошая (гражданская), согласно которой национальность формируется на основе общего гражданства, и плохая (этническая), в рамках которой национальность зависит от этнической принадлежности. Я же, напротив, полагаю, что различие между этнической и гражданской национальностью или, иначе говоря, различие между этнической и гражданской концепцией национализма проблематично как в нормативном, так и в аналитическом плане.

1

Я начну с «архитектонической иллюзии». Это воззрение предполагает, что если правильно организовать «масштабную архитектуру», если обнаружить и установить верные территориальные и институциональные рамки, то можно окончательно удовлетворить легитимные требования националистов и тем самым разрешить национальные конфликты. Существует много различных концепций, какой именно должна быть «масштабная архитектура». Большинство их взывает, тем или иным образом, к идее национального самоопределения, или к так называемому принципу национальности.

Принцип национального самоопределения приписывает нациям качества морального агента и политической власти; он утверждает, что нации имеют право управлять своими собственными делами и, в особенности, формировать свои собственные государства. Принцип национальности подразумевает, что государство и нация должны совпадать. Таким образом, принцип национальности представляет собой мощный инструмент для оценки и изменения государственных границ, для легитимизации или делегитимизации политических границ согласно теории «соответствия» и справедливости.

Хотя и не в совершенной форме, эти принципы лежали в основе территориальных урегулирований в Центральной и Восточной Европе после Первой мировой войны, а также в основе волны деколонизации в Азии и Африке в середине XX века и недавней реорганизации политического пространства в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. В каждом из этих случаев реорганизации политического пространства предшествовал период усиливавшихся националистических движений. В каждом из этих случаев большая часть мирового общественного мнения с симпатией относилась к требованиям этих движений. В каждом из этих случаев считалось, что новая «масштабная архитектура», включающая в себя реорганизацию политического пространства по национальным линиям, удовлетворит требования национальных движений и внесет вклад в региональный мир и стабильность, смягчая

национальную напряженность⁴⁸. И все же в каждом из этих случаев ожидания не оправдались. Политическая реконфигурация не разрешила национальные конфликты, а лишь переформировала их, поместила в новые рамки, придала новые (и зачастую гораздо более опасные) формы.

Я не утверждаю, что реконфигурация политического пространства согласно предполагавшимся национальным линиям была в этих случаях обязательно плохой (хотя я думаю, что в некоторых случаях, как, например, с бывшей Югославией, она была неудачной). Я возражаю против той мысли, что национализм – это такая проблема, которая может быть решена путем «правильного» территориального и институционального урегулирования, и тем более я возражаю против той мысли, что националистические требования могут быть удовлетворены, а национальные конфликты разрешены путем применения принципа национального самоопределения либо перекройки политических границ на основе принципа национальности.

Сегодня, разумеется, подобное утверждение можно услышать реже, чем несколько лет назад. Спустя пять лет после крупнейшей реорганизации политического пространства по национальным линиям стало слишком очевидно, что национальные конфликты не были разрешены и что наиболее опасные конфликты произошли как раз после, а не до реорганизации политического пространства. Все же имеет смысл вспомнить, что всего несколько лет назад на национальное самоопределение возлагались большие надежды. Перспектива распада Советского Союза приветствовалась как процесс национального освобождения, рассуждения о национальной тюрьме и обретении свободы были слышны повсюду. Тем не менее в момент распада коммунистических режимов возрастающая кривая энтузиазма по поводу национального самоопределения не достигла того апогея, какого она достигала 75 лет назад, когда была предпринята первая всеобъемлющая реорганизация по национальным линиям прежде многонационального политического пространства. Тем не менее господствовавшее в конце века умиление по поводу принципа национального самоопределения было достаточно существенным, достаточно неосторожным и, учитывая катастрофические последствия эксперимента в области национального самоопределения, предпринятого в начале XX века⁴⁹, достаточно интригующим, чтобы обратить на него внимание⁵⁰. Более того, несмотря на разочарование, которому уступило место умиление, несмотря на то что сегодня вчерашняя история «тюрьмы народов» и «национального освобождения» выглядит односторонней, вводящей в заблуждение или даже просто опасной, стоящее за ней представление о национализме, который исторически сопровождал призывы к соблюдению принципа национального самоопределения, остается твердо укорененным.

Как принцип национального самоопределения, так и родственные ему принцип национальности являются, разумеется, нормативными, а не аналитическими понятиями; и мне бы не хотелось в этой работе вступать в полемику в области нормативной политической

⁴⁸ Кроме того, что мои собственные исследования концентрировались на этом регионе, есть много аналитических причин обратить на него внимание. Нигде теоретически примитивные построения (см. примеч. 2) не были настолько представлены, как в литературе (и квазилитературе) по этому региону. Более того, те мифы, которые я анализирую, выглядят правдоподобными именно в этом регионе.

⁴⁹ Неудобная правда состоит в том, что во время заключения Мюнхенского соглашения 1938 года именно национальным самоопределением оправдывалось расчленение Чехословакии путем отделением земель судетских немцев от остальной страны (см.: *Taylor A.J.P. The Origins of the Second World War. London, 1961; Kovacs M. A nemzetі onredelkezes csapdaja // Nepszabadsag. 1995. 12 August*).

⁵⁰ Классическое, хотя и краткое описание дано в эпилоге к книге: *Taylor A.J.P. The Habsburg Monarchy. Chicago, 1976*. Более подробно см.: *Rothschild J. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle, 1974*, особенно первую главу. Надо признать, что трудно винить принцип национального самоопределения в катастрофическом развитии Центральной Европы в течение двух десятилетий после Первой мировой войны, хотя бы потому, что применялся он очень выборочно. Можно утверждать, что ответственность скорее лежала на неспособности применять его последовательно, например, путем разрешения мирного присоединения Австрии к Германии.

теории⁵¹. Однако в течение полутора столетий обращение к принципу национальности или к предполагавшемуся принципу национального самоопределения было теснейшим образом связано (как я считаю, ошибочно) с определенным представлением об источниках и динамике национализма. На этом-то представлении я бы и хотел вкратце остановиться.

Согласно этому представлению, «нация» должна быть в центре интерпретации национализма. Оно основано, как заметил Геллнер⁵², на «социальной онтологии», которая утверждает существование наций как реальных сущностей, чья цель, или *телос*, по крайней мере в современных политических и социальных условиях, состоит в достижении независимой государственности. Согласно этому представлению, национализм есть основывающаяся на представлении о нации деятельность по *приобретению* или осуществлению государственности.

Действительно, можно было бы ожидать разрешения национальных конфликтов путем удовлетворения требований националистов через реорганизацию политического пространства, если подобное понимание национализма было бы верным. Образ, который стоит за этим представлением, – это образ национализма с самоограничивающей политической карьерой. Фундаментально ориентированные на независимость, национальные движения, предположительно, трансцендируют самих себя, растворяются в самом процессе достижения своих целей. Когда националистическое требование государственности выполнено и выполнена националистическая программа, они теряют смысл.

Тем не менее я не думаю, что национализм можно интерпретировать как деятельность, основывающуюся на представлении о нации и направленную на приобретение или осуществление государственности. Во-первых, национализм не всегда направлен (и не всегда по сути своей направлен) на приобретение или осуществление государственности. Заострение внимания только на тех националистических движениях, которые стремятся к государственной независимости, означает игнорирование бесконечно изменчивой природы националистической политики. Это означает игнорирование того, что интересы предполагаемой «нации» требуют, по мнению самих националистов, различных видов деятельности, а не только достижения независимости. Это также означает нашу неподготовленность к тем различным видам националистической политики, которые могут процветать после реорганизации политического пространства по национальным линиям и распада многонациональных государств на предполагаемые национальные государства. В конце концов, это означает, что мы не готовы к тому факту, что национализм есть не только причина, но и следствие распада старых империй и создания новых национальных государств.

В новых и вновь увеличенных национальных государствах Центральной и Восточной Европы межвоенного периода, а также в новых независимых (или по-новому оформленных) национальных государствах посткоммунистической Восточной Европы несколько типов национализма расцвели именно в результате реконфигурации политического пространства по предполагаемым национальным линиям. Охарактеризуем вкратце четыре такие формы национализма, не стремящиеся к государственной независимости как таковой.

Первую форму я называю «национализующим» национализмом новых независимых (или вновь переоформленных) государств. «Национализующие» национализмы включают в себя требования, предъявляемые от имени «коренной» нации или национальности, определенной в этнокультурных терминах и резко отличающейся от совокупности граждан в целом. Коренная нация понимается в этом случае как законный «владелец» государства, которое, в свою очередь, рассматривается как государство для этой нации и принадлежащее

⁵¹ Kovacs M. Op. cit.

⁵² В области нормативной политической теории разработанный аргумент хорошо представлен в работах: Tamir Y. Liberal Nationalism. Princeton, NJ, 1993; Kymlicka W. Multicultural Citizenship. Oxford, 1995; Miller D. On Nationality. Oxford, 1995.

ей. Несмотря на владение «своим собственным» государством, коренная нация находится в ослабленном культурном, экономическом или демографическом положении внутри данного государства. Причиной подобного ослабленного положения считается дискриминация этой нации до достижения ею независимости. Именно это и используется как оправдание «возмещения» или своего рода «компенсирующего» проекта использования государственной власти для отстаивания определенных (ранее неадекватно удовлетворявшихся) интересов коренной нации. Примеров подобного «национализирующего» национализма достаточно как в межвоенной Центральной и Восточной Европе, так и в сегодняшнем посткоммунистическом пространстве⁵³.

Прямым вызовом такому «национализирующему» национализму является пересекающий границы национализм «внешней исторической родины» (*external national homeland*). Подобный пересекающий границы национализм «исторической родины» утверждает право и даже обязанность государства наблюдать за условиями, в которых находятся «его» этнонациональные «соотечественники», отстаивать их благополучие, поддерживать их деятельность и организации, защищать их интересы в других государствах. Подобные заявления обычно делаются и имеют наибольшую силу и резонанс в обществе, когда считается, что этнонациональные «соотечественники» подвержены угрозе со стороны национализирующей политики того государства, в котором они живут. Таким образом, национализм «исторической родины» возникает в прямой оппозиции и в динамичном взаимодействии с «национализирующим» национализмом. Яркими примерами национализма «исторической родины» могут служить Веймарская Германия, нацистская Германия (хотя и в особом смысле), а также сегодняшняя Россия⁵⁴.

Последствия реорганизации политического пространства по национальным линиям проявляются и в третьей форме национализма – национализма национальных меньшинств. Националистические позиции меньшинств, как правило, характеризуются самосознанием именно в национальных, а не в чисто этнических терминах, требованиями признания государством их особой «этнонациональной национальности» и утверждением определенных коллективных, основанных на национальности, культурных и политических прав. Ярким примером этого может служить случай немцев во многих восточноевропейских странах в межвоенный период и венгерских и русских меньшинств сегодня.

Четвертой формой является защитный, протекционистский, национально-популистский национализм, который стремится защитить национальную экономику, язык, нравы или культурное наследие от предполагаемой угрозы извне. Носители этой предполагаемой угрозы различны и могут быть связаны с иностранным капиталом, транснациональными организациями, в частности МВФ, иммигрантами, сильными культурными влияниями из-за рубежа и т. д. Такого рода национализм нередко заявляет, что он стремится найти «третий путь» между капитализмом и социализмом, часто восприимчив к антисемитизму, клеймит своих политических оппонентов как врагов данной национальности, «не-румын», «не-русских» и т. д., критикует различные болезни «Запада» и «современности» и склонен к идеализации аграрного прошлого. Социальные и экономические потрясения, сопровождающие рыночные реформы, – безработица, инфляция, более строгая дисциплина на рабочих местах – создают благоприятную почву для использования подобных национально-популистских идиом правительствами в качестве легитимирующей стратегии или оппозицией в качестве средства для мобилизации масс.

⁵³ *Gellner E. Op. cit. Oxford, 1983. P. 48.*

⁵⁴ Анализ ситуации в межвоенной Польше (и национализирующего государства), а также некоторые соображения по сегодняшним национализирующим государствам см.: *Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, 1996. Гл. 4.*

Таким образом, национализм не следует рассматривать только как стремление к государственности. Его также не следует рассматривать, что подчеркивал Геллнер, как основанный на представлении о нации, т. е. возникающий из требований наций, понимаемых как реальные, материальные, отграниченные социальные сущности. Национальность (nationhood) – это не бесспорный социальный факт; она является спорным, и зачастую оспариваемым, политическим требованием. Следовательно, ни принцип национальности, ни принцип национального самоопределения не могут служить ясным и однозначным руководством при реорганизации политического пространства.

Заявки на национальность зачастую оспариваются – вспомним, например, македонцев или дискуссии о том, является население межвоенной Чехословакии одной нацией или двумя. В недавнем прошлом известны случаи курдов, палестинцев, квебекцев и целый набор западноевропейских этнорегиональных движений. Даже когда сам статус национальности не оспаривается, территориальные или культурные границы предполагаемой нации зачастую подвергаются сомнению, не говоря уже о способе, которым данная национальность (nationhood) должна быть сконструирована с целью осуществления права на самоопределение или с целью перекраивания границ по национальным линиям.

Каким образом мы можем определить национальные единицы, которые будут пользоваться правом или привилегией самоопределения, учитывая очень большое количество претензий на национальность (зачастую конфликтующих между собой)? А если мы даже и сможем идентифицировать такие привилегированные национальные единицы, как мы определим их границы и контуры? Этот вопрос – не просто теоретическая загадка, но проблема чрезвычайной практической важности.

Возьмем, к примеру, Югославию. Даже если бы мы согласились, что национальными единицами, которым следовало предоставить право на самоопределение, являются официально признанные конституирующие нации Югославии (хотя почему не албанцы? почему не венгры в Воеводине?), нам все равно не удалось бы избежать вопроса о том, как эти национальные единицы должны быть сконструированы. Поставив вопрос в простейшей форме и предположив, что мы сошлись на том, что самоопределение должно осуществляться сербами, хорватами и мусульманами, как, в таком случае, эти национальные единицы должны быть определены? Сербия или сербы будут осуществлять это самоопределение? Хорватия или хорваты? Босния-Герцеговина или боснийские мусульмане? Другими словами, территориальные единицы или пересекающие границы этнокультурные нации? Должны ли все обитатели Хорватской Республики пользоваться единым правом самоопределения? И, соответственно, все обитатели Сербской Республики и Боснии-Герцеговины, большинством голосов? Или, скорее, право на самоопределение должно было быть реализовано хорватской, сербской и боснийской мусульманской этнонациями, члены которых проживают за пределами соответствующих границ? На практике международное сообщество выбрало первое решение, возможно, не отдавая себе отчета в огромной разнице между двумя способами конструирования самоопределения для тех же самых национальных единиц⁵⁵. И последствия этого выбора были катастрофическими.

Существует, разумеется, много примеров соперничающих претензий на правильный способ конструирования национальной единицы. Целый список подобных соперничающих претензий возник во время переговоров по послевоенному устройству после окончания Первой мировой войны. Многие претензии были связаны с конфликтами между историко-территориальными и этнокультурными версиями национальности, и различные стороны, зачастую оппортунистически, отстаивали те версии, которые им в тот момент были выгодны.

⁵⁵ Сравнение национализмов «внешней родины» в Веймарской Германии и современной России см.: Ibid. Гл. 5.

Если говорить на языке философии, мы подошли к неизбежным антиномиям национального самоопределения. Самоопределение предполагает предварительное определение единицы – национального «я», которому будет предоставлено это право. Но идентификация и границы этого «я» не могут быть самоопределяемыми, они должны быть определены другими. Так же, как границы *демоса*, который предполагает демократические институты, не могут быть определены демократически⁵⁶, не могут быть самоопределены и границы национального «я». Только на практике проблемы с национальным самоопределением гораздо более серьезны, чем проблемы с демократией. В ежедневном рутинном функционировании демократий границы *демоса* просто воспринимаются как данные и не вызывают споров. Но поскольку национальное самоопределение как раз и предполагает изначальную установку границ *демоса*, мы вряд ли найдем аналог национальному самоопределению в рутинном функционировании демократий в рамках воспринимаемого как данность *демоса*. Так как смысл обращения к принципу национального самоопределения как раз и состоит в изменении границ единицы, подобные границы не следует воспринимать как нечто безусловно данное, в особенности учитывая абсолютно спорную, конфликтную и противоречивую природу претензий на национальность.

Таким образом, вопреки иллюзии, что националистические конфликты допускают фундаментальное разрешение через национальное самоопределение, я привожу своего рода «теорему невозможности», состоящую в том, что национальные конфликты являются в принципе неразрешимыми, что понятие «нация» принадлежит к категории по сути оспариваемых понятий, что хронический конфликт в силу этого имманентен националистической политике, является ее неотъемлемой частью и что поиск всеобщего «архитектурного» решения национальных конфликтов является заблуждением в принципе и зачастую катастрофой на практике.

Критикуя такой наивно оптимистический взгляд, я все же должен подчеркнуть, что я далек и от исключительно пессимистического видения ситуации. В сущности, следующий миф, который мне хотелось бы подвергнуть критике, как раз и состоит в подобном исключительно пессимистическом взгляде на положение в регионе. Моя точка зрения состоит не в подмене пессимизма оптимизмом, а скорее в том, что стремление к решению национальных конфликтов – и в особенности к масштабным, «архитектоническим», изоморфным, «всех-под-одну-гребенку» решениям – является заблуждением. Утверждать неразрешимость национальных конфликтов не означает утверждать что-либо об их важности, интенсивности или актуальности. Я действительно считаю (и собираюсь доказать), что их важность, интенсивность и актуальность зачастую и в общем преувеличиваются. Таким образом, поиск фундаментальных, «архитектурных» решений национальных конфликтов не просто философски проблематичен и практически ошибочен, но также, зачастую, просто не нужен.

Критика поиска решений национальных конфликтов не означает, что институциональный дизайн не имеет значения. Напротив, такой дизайн очень важен⁵⁷. Очевидно, институциональный дизайн может интенсифицировать либо притушить этнические и национальные конфликты. Но он не может разрешить их. Скорее, правильный институциональный дизайн может побудить политические силы обходить национальные и этнические конфликты, не обращать на них внимания, в силу определенных задач оформлять свою риторику и политические претензии в неэтнических или трансэтнических терминах. Все же, если проводить институциональный дизайн масштабным, архитектурным, «всех-под-одну-гребенку» способом, он вряд ли будет иметь даже такой ограниченный (хотя и важный) эффект. Мас-

⁵⁶ См., например: Woodward S. *Balkan Tragedy*. Washington, 1995. P. 209 ff.; Kovacs M. *Op. cit.*

⁵⁷ Dahl R. *Democracy and its Critics*. New Haven, 1989. P. 147–148, 193–209.

штабные «архитектурные» принципы, такие как принцип национального самоопределения или принцип национальности, скорее осложнят правильный институциональный дизайн. Правильный институциональный дизайн должен быть чувствителен к контексту в самом прямом смысле, т. е. чувствительным не только к крупным чертам различающихся контекстов, но и к мелким деталям; он предполагает относительно детализированное понимание местных условий, к которым он должен применяться⁵⁸.

На мой взгляд, национальные конфликты редко «решаются» или «разрешаются». Гораздо более вероятно, что они, подобно конфликтам соперничающих парадигм в куновской истории науки, со временем затеваются, теряют свою центральное положение и яркость, когда простые люди и политические деятели обращаются к другим заботам или когда вырастает новое поколение, которому старые ссоры, по большому счету, безразличны. Нам следовало бы уделять больше внимания тому, как и почему это происходит – не только как и почему политика может быть всесторонне и относительно неожиданно «национализирована», но и как и почему она может быть также неожиданно и в равной степени всесторонне «денационализирована».

2

Второе заблуждение, которое я хочу обсудить, в некотором смысле противоположно первому. Если архитектурная иллюзия характеризуется наивной оптимистичной верой в то, что национальные конфликты можно окончательно разрешить, то второму заблуждению, напротив, присуща бледно-пессимистическая оценка восточноевропейского национализма. Я называю этот подход «теорией парового котла», так как он представляет весь регион в образе парового котла этнических конфликтов, находящегося на грани закипания и выплеска в этническое и националистическое насилие, или, пользуясь другой метафорой, в образе пороховой бочки, которую любая неосторожная искра способна послать в катастрофический этнонациональный ад⁵⁹.

Подобное заблуждение можно также назвать ориенталистским подходом к восточноевропейскому национализму, так как оно предполагает, может быть и неявно, преувеличенный, если не сказать прямо карикатурный, контраст между Западной и Восточной Европой, построенный на целой серии противопоставлений, например, между разумом и страстью, универсализмом и партикуляризмом, транснациональной интеграцией и националистической дезинтеграцией, гражданственностью и насилием, современной толерантностью и архаичной ненавистью, гражданской национальностью и этническим национализмом.

Бесспорно, существуют важные различия между наиболее распространенными формами национальности и национализма в Западной и Восточной Европе, обусловленные историческими традициями и современными экономическими, культурными, политическими и этнодемографическими реалиями. И все же необходимо отказаться от этого самодовольного и самоуверенного мнения Западной Европы, которое, тайно или явно, присут-

⁵⁸ Превосходный анализ институционального дизайна дан в работах: *Horowitz D. Ethnic Groups in Conflicts*. Berkeley, 1985; *Idem. A Democratic South Africa?* Berkeley, 1991.

⁵⁹ Красноречивый контекстуалистский призыв к соотнесению претензий и обстоятельств дан в работе: *Walzer M. The New Tribalism // Dissent*. 1992. Spring. Утверждение, что правильный институциональный дизайн должен быть чувствительным к контексту, не означает, что не нужен обобщающий анализ работы различных институтов, например, различных типов избирательных систем; Горовитц предпринимает подобный анализ, но это именно обобщающий анализ собственно различных эффектов, которые может вызывать, в разных контекстах, одна и та же избирательная система. Наиболее полное исследование институционального дизайна у Горовитца (см.: *Horowitz D. A Democratic South Africa?*) контекстуально как раз в моем смысле, так как совмещает относительно детализированное описание частного контекста с обобщающими заключениями об эффекте определенных институтов в различных ситуациях.

ствуется в ориенталистском взгляде на восточноевропейский национализм. В конце концов, «еврофория», которая окружала дискуссии о европейской интеграции несколько лет назад, как-то рассеивается в связи с непредвиденным (и отчасти националистическим) сопротивлением Маастрихтскому договору, а националистические и заряженные ксенофобией партии вполне гарантировали себе безопасное место в политическом ландшафте практически всех западноевропейских стран.

Необходимо отказаться от взгляда на Восточную Европу как на «паровой котел». В данной работе я уделяю больше внимания именно этому представлению о ситуации в Восточной Европе как «беспросветной», нежели параллельному самодовольному самоописанию Запада. На следующих страницах будут рассмотрены два проблематичных аспекта. Первый касается вопроса о насилии, а второй – вопроса о силе и присутствии национализма и национальных идентичностей.

Насилие в этом регионе – в бывшей Югославии, в Закавказье и на Северном Кавказе, в некоторых частях советской Средней Азии – было действительно ужасным. Тем не менее недифференцированное представление о регионе как об очаге вездесущего, взрывного, охваченного тягой к насилию этнического и национального конфликта является заблуждением. Насилие не только не доминирует, но даже вероятность его проявления гораздо меньше, чем зачастую предполагается. Журналисты и ученые заостряли внимание скорее на зримых, но нетипичных случаях насилия (как в бывшей Югославии), нежели на менее зримых, но гораздо более типичных случаях «рутинной» этнической и национальной напряженности, и обобщали опыт нетипичных случаев для всего региона. Подобная необъективность при подборе материала и его анализе является одной из причин чрезмерного подчеркивания роли насилия⁶⁰.

Не только действительные случаи, но и опасность будущего насилия преувеличивается. Насилие часто представляется как постоянно присутствующая возможность. «Если это случилось в Югославии, это может случиться где угодно», – утверждают многие. Я считаю это ошибкой. Например, я занимался исследованием венгерских меньшинств в граничащих с Венгрией странах, в особенности в Румынии и Словакии. В этой ситуации есть несколько форм национализма. Наиболее важным является национализм венгерских меньшинств, требующих автономии, «национализирующий» национализм Словакии и Румынии, предполагающий строительство «национального государства», и национализм «внешней родины» в Венгрии, направленный на защиту интересов и прав венгерских «соотечественников» в соседних странах. И тем не менее я считаю, что опасность массового этнического насилия или националистической войны в данном случае минимальна. Она минимальна вовсе не потому, что национальная напряженность может быть как-то «разрешена». Я думаю, что это невозможно. Эти взаимосвязанные, антагонистические национализмы национальных меньшинств, национализирующих государств и внешних национальных «родин» очень упорны и, скорее всего, будут сохраняться в виде хронической напряженности и конфликтов. Но их упорство не стоит путать со взрывоопасностью или потенциальным массовым насилием на этнической или национальной почве.

Если вышеуказанное верно, то возникает аналитическая проблема: что же предотвращает эскалацию этих упорных и взаимосвязанных националистических конфликтов в насильственную конфронтацию? Важный и незаслуженно обойденный вниманием вопрос о том, как можно объяснить отсутствие или сдерживание насилия, как недавно заметили

⁶⁰ Хотя я и ограничиваю свое поле исследования Восточной Европой, пессимистичный взгляд на якобы взрывоопасный национализм распространен и за ее пределами. Его даже используют в США, чтобы связать мультикультурализм с «балканизацией» и ожидаемым кровопролитием. Хотя я и отношусь критически ко многим благам мультикультурализма, я считаю, что подобный аргумент «скользящей дорожки», якобы ведущей от радостей мультикультурализма *à l'américaine* к этническому кровопролитию, – это просто чепуха.

политологи Ямес Феарон и Дэйвид Лэйтин⁶¹, является настолько же серьезным, как и вопрос о том, почему насилие случается. Вот только этому последнему уделяется очень много внимания. В случае с Венгрией и ее соседями, по-моему, существует три причины⁶². Во-первых, венгры в соседних странах обладали доступным и относительно привлекательным выходом: возможностью иммиграции или работы в Венгрии. Эта возможность функционировала как «выпускной клапан» и работала против радикализации этнонационального конфликта, особенно в Румынии. Во-вторых, соположенность национальных конфликтов региональным процессам европейской интеграции «дисциплинировала» центральные политические элиты, особенно в области внешней политики. Это послужило причиной того, что Венгрия ограничила поддержку своих соплеменников за границей поддержкой венгерской культуры и тщательно избегала всего, что могло подтолкнуть венгров за рубежом к дестабилизирующей политической активности. Это верно даже в отношении национально-популистского правительства Анталла, несмотря на заявленную им поддержку соотечественников за рубежом. В-третьих, отсутствие истории, которая связывала бы прошлое этнонациональное насилие с сегодняшней угрозой, чрезвычайно затруднило достижение успеха для этнонациональных антрепренеров, главный аргумент которых – страх. Напротив, подобная история опасности и угрозы, связанная с прошлым насилием, была очевидна перед началом войны в бывшей Югославии⁶³.

И это не единичный случай. Эстония, например, занимала определенное место в сводках новостей последнего времени в связи со спорными законами о гражданстве и статусом многочисленного русского меньшинства. Риторика была очень взвинченной: русские (чаще русские в России, чем местные русские) обвиняли Эстонию в апартеиде и этнической чистке; эстонские националисты твердили о русском меньшинстве как о колонистах или нелегальных иммигрантах. И тем не менее, несмотря на эту взвинченность, люди на местах вряд ли опасаются насилия⁶⁴.

Образ «парового котла» переоценивает не только насилие. В более общих чертах, силу, значимость и актуальность национального чувства, национальной идентичности и националистической политики тоже пытаются переоценить. Возьмем, к примеру, националистическую мобилизацию. Были, разумеется, драматические, даже эффектные моменты националистической мобилизации. Например, вспоминаются «живая цепь» через Прибалтику в августе 1989 года или огромные толпы, заполнявшие главные площади Еревана, Тбилиси, Берлина, Праги и других городов в 1988-1990-х годах. Эти яркие события, передававшиеся по всему миру телевидением, останутся навсегда запечатленными в нашей памяти. Но они были исключением, а не правилом. Моменты такой мобилизации там, где они случались, оказались эфемерными; «нация» проявила себя такой гальванизирующей категорией, которая оживляет в один момент и не вызывает никаких эмоций в следующий. В целом люди

⁶¹ *Fearon J.D., Laitin D.D. Explaining Interethnic Cooperation // American Political Science Review. Vol. 90 (1996).*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Следует подчеркнуть, что это относительное, а не абсолютное отсутствие националистического насилия. Был один случай столкновений между венграми и румынами в Тигру Миреш, но он не привел к дальнейшему насилию. Иные формы насилия, например, нападения на цыган (рома) в Венгрии и других восточноевропейских странах, были достаточно серьезными. Мое внимание в данной работе обращено на отношения между Венгрией и национальностями большинства в соседних странах.

⁶⁴ Феарон и Лэйтин справедливо предупреждают, что неверно объяснять этническое насилие через обращение к нарративам «утраты, обвинений и угрозы», утверждая, что подобные нарративы характерны и для ненасильственных форм этнического конфликта. Но не все такие нарративы одинаковы, и вероятность их связи с этническим насилием тоже различна. В частности, есть существенная разница между угрозой смерти и физического насилия и памятью о них – с одной стороны, и общими историями утраты, обвинений и угроз – с другой. Правдоподобные истории национальных утрат, обвинений и угроз можно найти везде. А вот правдоподобные истории, связывающие память о прошлом массовом насилии с угрозой насилия в будущем, довольно редки. Как раз наличие подобных историй, связывающих массовое насилие в прошлом с угрозой будущего насилия, и сыграло, на мой взгляд, отличительную и центральную роль в югославской ситуации.

оставались в своих домах, а не выходили на улицы. В противоположность тому, что происходило в межвоенной Центральной и Восточной Европе, не жаркая мобилизация, а демобилизация и политическая апатия характеризовали политический ландшафт. Очень много было написано о силе и глубине националистических движений в бывшем Советском Союзе – недостаточно было написано об их сравнительной слабости. И хотя слабость национализма в некоторых регионах (в частности, в Средней Азии) действительно отмечалась, слишком много внимания уделялось вариациям в пространстве и слишком мало – вариациям во времени. В особенности не получила должного внимания ниспадающая линия мобилизации, хотя она была распространена в той же степени, в какой она заслуживает изучения и объяснения.

Даже там, где национальные конфликты и национальные идентичности очевидно присутствовали в политической сфере, они вовсе не обязательно присутствовали в ежедневной жизни. Национализм мог проявиться в законодательстве, в прессе, в некоторых учреждениях государственной администрации, не проявляясь на улицах или в домах людей⁶⁵. Существует какая-то слабая связь, отсутствие когерентности между националистической политикой, которая, кажется, занималась сама собой в своей собственной сфере, отделенная от своих избирателей, и ежедневной жизнью. Вовсе не обязательно, что люди будут энергично и тепло отвечать на изречения политиков, которые пытаются говорить от их имени. Это в целом прохладное отношение (иногда вовсе сходящее на нет) к националистическим призывам является наследием достаточно циничного отношения к политике и политикам. Различие между «нами» и «ними» действительно являлось очень важным фактором отношения людей к политике при коммунизме, и можно предположить, что подобное различие легко переносится на исключаящий определенные группы национализм. Так, безусловно, может произойти при некоторых обстоятельствах. В целом же противопоставление «мы – они» не отделяет одну этническую группу от другой, а служит разделительной границей между «народом» и «властью». «Они» – представители власти, – разумеется, не могут быть «нами», даже если «они» и утверждают, что говорят от «нашего» имени, как это часто случалось при коммунизме. С падением коммунизма ситуация не изменилась: применение идиомы этнонационализма вовсе не гарантирует, что «они» смогут убедить «нас» в том, что мы едины, что «нас» от «них» отделяет этническая национальность, а не позиция в иерархии власти и способ доминирования.

Этнические идентичности в регионе тоже не настолько сильны, как это часто предполагается. Я вернусь к этой теме ниже; пока же достаточно будет заметить, что, учитывая убедительнейшие доказательства ситуационных и контекстуальных сдвигов в процессе самоидентификации и идентификации «иного», следует избегать опасности чрезмерной историзации проблемы⁶⁶. Следует также скептически подойти к часто повторяемому тезису о глубокой исторической укорененности национальных идентичностей в регионе.

Ориенталистское противопоставление между западным супранационализмом и восточным национализмом деформирует наши представления о зарождающихся, но вовсе не малозначительных космополитических тенденциях в регионе. Рассмотрим вновь случай венгров в Румынии. Несомненно, с падением режима Чаушеску национальный венгерский элемент стал более явным в их самоидентификации. Их лингвистические, культурные, рели-

⁶⁵ Дэйвид Лэйтин, личное общение.

⁶⁶ Например, в Эстонии и Латвии конфликт между претензиями новых независимых национализирующих государств и претензиями их русских и русскоязычных меньшинств, многократно усиленный извне националистическими претензиями России на право «защищать» русских в Прибалтике, остается интенсивным на уровне высокой политики. Тем не менее в течение последних лет националистическая массовая мобилизация была очень слабой как среди большинства, так и среди русскоязычных меньшинств. (О сравнительной политической пассивности последних см.: *Melvin N. Russians beyond Russia*. London, 1995.)

гиозные, исторические и экономические связи с Венгрией, с *anyaország* (родиной), стали более осязаемыми, более «реальными». Однако же не существует обязательной обратной связи между космополитичной и национальной самоидентификациями. В одно и то же время венгры в Румынии осознали как свою трансгосударственную венгерскую национальность, так и более широкий европейский мир.

Телевидение сыграло в этом процессе интересную и двусмысленную роль. Национально-венгерская самоидентификация трансильванских венгров была усилена учреждением, относительно щедрым финансированием и распространением «Дуна ТВ», телевизионного канала, который был в основном ориентирован на венгров в соседних с Венгрией странах. В то же время высокий престиж каналов на французском, немецком и английском языках, которые стали доступны в Трансильвании посредством системы кабельного и спутникового вещания, сыграл, вполне возможно, определенную денационализирующую или транснационализирующую роль. Надо признать, разумеется, что степень подобного эффекта трудно измерить⁶⁷. Национальную двусмысленность телевидения раскрывает следующая история. Румынские власти были раздражены, когда узнали, что некая телекомпания собиралась транслировать канал под названием «МТВ». Для румынских властей, разумеется, эта аббревиатура означала «Мадьяр ТВ», т. е. государственное телевидение Венгрии. В действительности, конечно, речь шла об американском музыкальном видеоканале. Для трансильванских же венгров американский «МТВ» был, без сомнения, более интересен, чем венгерский.

В целом этнические и национальные конфликты были менее насильственными и сильными, чем считают большинство комментаторов; даже там, где такие конфликты происходили, они представляли собой вялотекущие процессы с низким уровнем насилия, своего рода фоновый шум, который вовсе не находился в центре ежедневной жизни людей. Эти конфликты чаще всего не были острыми и взрывоопасными.

3

Таким образом, я рассмотрел два общих подхода к национальным конфликтам в регионе. Первый, оптимистический, предполагает, что эти конфликты можно разрешить посредством реорганизации политического пространства по национальным линиям. Второй, пессимистический, рассматривает конфликты как глубоко укорененные, всепроникающие и дестабилизирующие. Согласно этому подходу, конфликты в регионе постоянно угрожают перерасти в насилие.

Теперь мне хотелось бы обратиться к двум противоположным теориям источников и динамики возрождения национальных конфликтов. Первая – это теория «возвращения подавленного». Суть ее состоит в следующем: национальные идентичности и национальные конфликты были якобы глубоко укоренены в докоммунистической истории Восточной Европы, а затем заморожены или безжалостно подавлены антинациональными коммунистическими режимами. С падением коммунизма, согласно этой теории, докоммунистические идентичности и конфликты возобновились с удвоенной силой.

Эта теория может быть выражена в терминах квазифрейдистской идиомы (откуда она, вероятно, и черпает свое вдохновение). Не имея рационального управляющего «эго» в виде саморегулирующегося гражданского общества, коммунистические режимы подавляли исконно национальное «я» посредством грубого, карательного коммунистического «суперэго». С падением коммунистического «суперэго» подавленное этнонациональное «я»

⁶⁷ Существует, конечно, параллельная опасность недооценки истории. Я обращаюсь к этой проблеме ниже, критикуя неспособность теории манипуляции элит объяснить исторически обоснованные различия в восприимчивости к лозунгам оппортунистических манипуляторов-политиков.

возвращается в полной силе, изливая гнев и месть, неподконтрольные регулирующему «эго». (Квазифрейдистская идиома демонстрирует ориенталистские корни этой теории и ее тесную связь с мифом о «паровом котле».)

Очевидно, что коммунистические режимы Восточной Европы и Советского Союза подавляли национализм. Но теория «возвращения подавленного» неправильно истолковывает способ, которым это делалось. Эта теория ошибочно полагает, что режимы подавляли не только национализм, но и национальное; что они были не только антинационалистскими, но и антинациональными. Кроме того, эта теория предполагает, что здоровое, исконное чувство национальности выжило в коммунистический период, невзирая на энергичные усилия режима, направленные на его искоренение и подмену интернационалистской и классовой солидарностью.

Подобный подход в корне ошибочен. Попробуем продемонстрировать вкратце, почему он ошибочен, на советском примере⁶⁸. Рассматривать сегодняшние постсоветские национальные конфликты как борьбу наций, реальных и солидарных групп, которые каким-то образом выжили, несмотря на советские попытки сокрушить их; утверждать, что нации и национализм процветают сегодня, несмотря на безжалостно антинациональную политику советского режима, означает просто переворачивать вещи с ног на голову. Можно сформулировать проблему еще более остро: нации и национализм процветают сегодня благодаря политике режима. Будучи антинационалистической, эта политика никогда не была антинациональной. Вовсе не подавляя безжалостно национальность, советский режим повсюду стремился институционализировать ее. Режим, конечно, подавлял национализм; но в то же время он пошел дальше, чем какой-либо другой режим до или после него, институционализовав территориальную рамку национального и национальность как этническую принадлежность в качестве фундаментальных социальных категорий. Таким образом, режим неумышленно создал политическое поле, в высшей степени способствующее расцвету национализма.

Режим делал это двумя путями. С одной стороны, он нарезал советское государство на более чем пятьдесят национальных территорий, каждая из которых была ясно определена как родина для конкретной этнонациональной группы. Территории высшего уровня, те, которые сегодня являются независимыми государствами, были определены как квазинациональные государства, с собственными территориями, названиями, конституциями, законодательными собраниями, административным аппаратом, культурными и научными учреждениями и т. д.

С другой стороны, режим разделил всех граждан согласно исчерпывающей системе взаимно исключаящих этнических национальностей, которых было более ста. Согласно этой государственной системе классификации, этнически определяемая национальность не только служила статистической категорией, фундаментальной единицей общественной бухгалтерии, но также, что еще более важно, означала обязательный и предписанный статус. Этот статус давался человеку государством при рождении, на основании его происхождения. Он был зарегистрирован в личных документах и практически во всех официальных бумагах, анкетах и так далее. Он использовался для контроля над доступом к высшему образованию и престижным рабочим местам, ограничивая возможности для одних национальностей, в частности, для евреев, и гарантируя доступ другим посредством политики льгот – например, для так называемых «титовых» национальностей в их «собственных» республиках.

Таким образом, задолго до эры Горбачева, территориальная и этническая национальность была повсеместно институционализована как социальная и культурная форма. Несмотря на насмешки советологов, эта форма вовсе не являлась пустой. Безусловно,

⁶⁸ Для более полного представления о дискуссии вокруг этого аргумента см.: *Brubaker R.* Op. cit. Гл. 2.

насмешки объяснялись тем, что режим последовательно и эффективно подавлял любые проявления открытого политического, а иногда даже и культурного национализма. И все же подавление национализма происходило параллельно с учреждением и консолидацией национальности как фундаментальной когнитивной и социальной формы.

Национальность как институционализируемая форма располагала разработанной системой социальной классификации, а также организующим «принципом видения и деления» социального мира, по выражению Пьера Бурдьё. Она включала в себя стандартизированную систему социальной бухгалтерии, толковательные рамки общественной дискуссии, тесную организационную решетку, набор маркеров для проведения границ между группами, легитимные формы общественных и личных идентичностей. И когда общественное пространство резко расширилось при Горбачеве, эти повсеместно институционализованные формы были с готовностью политизированы. Они представляли собой элементарные формы политического сознания, политической риторики, политического интереса и политической идентичности. Согласно веберовской метафоре стрелочника, они определили колею, когнитивные рамки, по которым пошло действие, отражающее динамику материальных и идеальных интересов. Таким образом, национальность как социальная и культурная форма превратила коллапс режима в дезинтеграцию государства. Она продолжает формировать политическое сознание и политическое действие в государствах-преемниках СССР.

Похожей была ситуация в Югославии, хотя в других странах Центральной и Восточной Европы имелись отличия: там не наблюдалось такой степени общественной поддержки институционализации национальности⁶⁹. Тем не менее даже в этих государствах коммунистические режимы приспосабливались к национальности различными способами, пусть иногда и ограниченными. Подавление национальности, особенно в постсталинскую эпоху, вовсе не было таким последовательным, как это зачастую предполагается.

Подчеркивая кодификацию и распространенную институционализацию национальной рамки социального и политического опыта советским и югославским режимами, я вовсе не утверждаю что-либо о глубине или силе этнонациональных идентичностей, институционализованных этими режимами. Очень важно отличать друг от друга степень институционализации этнических и национальных категорий и психологическую глубину, овестьвленность и практическую значимость подобных категориальных идентичностей. Степень институционализации в СССР была беспрецедентно высокой, тогда как психологическая глубина, овестьвленность и практическая значимость сильно различались в зависимости от конкретной группы и в некоторых случаях были минимальны. В пределе, широко распространенные среди официально признанных малых народностей Российской Федерации институционализованные категориальные идентичности маскировали почти полное отсутствие отличительной культурной идентичности или особого этнонационального хабитуса. В крайних случаях члены различных «групп» отличались только по официальным этнонациональным отметкам, присвоенным им государством. Эти категорические отметки не подразумевали этнических или культурных отличий, а заменяли их⁷⁰. Я не утверждаю, что именно такой вариант был типичен для СССР. Тем не менее это показательно. Чрезвычайно институционализуемая система официальных этнонациональных идентичностей предоставляет в распоряжение общественным репрезентациям социальной реальности определенные категории. Таким же образом этими категориями пользуются при оформлении политических требований и организации политического действия. Сам по себе этот факт имеет большое значение. Но он

⁶⁹ *Vujacic V., Zaslavsky V. The Causes of Disintegration in the USSR and Yugoslavia // Telos. Vol. 88 (1991).*

⁷⁰ В терминах Бурдьё, две группы людей могут разделять один и тот же хабитус (или, более социологично, одно распределение хабитуса); они могут смотреть на мир одинаково, говорить на одном языке, одеваться одинаково, потреблять одни и те же товары и продукты и так далее; и тем не менее они все же могут существовать как две различные «группы» благодаря общественному категориальному признанию.

не гарантирует, что эти категории будут играть существенную, структурирующую роль в оформлении представлений или ориентации людей в их ежедневной жизни. Институционализированные, категориальные наименования групп не могут быть приняты в качестве проблематичных и безусловных индикаторов существования «реальных» групп или идентичностей.

Существует одна версия теории «возвращения подавленного», которая мне кажется более приемлемой. Она имеет особое значение для бывшей Югославии, так же как и для некоторых частей бывшего СССР. Версия эта состоит в том, что табуирование определенных тем – в Югославии это было табу на обсуждение братоубийственного насилия в годы Второй мировой войны – исключило любую форму *Vergangenheitsbewältigung* (овладения прошлым), в частности такую, которая имела место в Германии. Просто не было возможности публично обсуждать массовые убийства времен войны. Конечно, публичное обсуждение само по себе не разрешает проблем, а возможно, даже порождает острые конфликты. И все же открытые дискуссии могли бы лишить эти вопросы того взрывного потенциала, который проявился сорок лет спустя в обстановке общественной нестабильности и неуверенности.

В любом случае то, что «возвращается» в посткоммунистическом настоящем, возвращается не из докоммунистического прошлого; это возвращающееся порождено коммунистическим прошлым. В некоторых случаях, особенно в Советском Союзе и в его неевропейской части, собственно национальные идентичности были сконструированы при коммунизме. Но и в других частях Восточной Европы, где подобного не произошло, феномен национальности был отчасти, даже если и негативно, сформирован при коммунизме посредством подавления гражданского общества, подавления того общественного пространства, в котором можно было бы дискурсивно овладеть наследием прошлого.

4

Согласно теории «возвращения подавленного» то, что возвращается в виде национальных конфликтов, выражает нечто исконное, по меньшей мере глубоко укорененное в докоммунистической истории региона. Отсюда и постоянное обращение к «древней ненависти». Те же, кто заостряет внимание на беспринципных и манипуляторских элитах, придерживаются прямо противоположного мнения. Вовсе не считая национализм глубоко укорененным в исконных идентичностях или древних конфликтах, сторонники этого взгляда предполагают, что национализм подогревается в оппортунистической и циничной манере беспринципными политическими элитами. Очевидно, что этот подход содержит в себе много верного. Вряд ли кто-то усомнится в оппортунизме и цинизме политических элит или в их решающей роли (искренней или обусловленной тем же цинизмом) в процессе выражения национальных требований и в мобилизации людей для участия в национальных конфликтах. Тому есть немало классических примеров. Возможно, Слободан Милошевич является таким примером националиста скорее по практическим соображениям, чем по убеждению. Элитистский, инструменталистский фокус этого подхода безусловно верен в его отрицании того, что современная националистическая политика движима глубоко укорененными национальными идентичностями и древними конфликтами.

В качестве общей теории источников и динамики национализма в регионе теория манипуляции элит имеет по меньшей мере три проблематичные черты. Первая состоит в убеждении, что национализм выгоден как политическая стратегия, поэтому он является рациональной стратегией для элит, что для элит не составляет большого труда разжечь националистические страсти таким образом, чтобы это было политически выгодно. Второе проблематичное утверждение предполагает, что если разбуженная элитами массовая мобилизация вылилась в этнонациональную войну в Югославии, то это может случиться и в других

местах (в наиболее сильной версии – в любом месте). Третье проблематичное заявление состоит в том, что подогреваемый элитами национализм есть, по существу, политика интересов, а поэтому должен рассматриваться исключительно в инструментальных терминах.

Я считаю, что все три утверждения ошибочны. Начать можно с того, что национализм – это вовсе не всегда субъективно рациональная или объективно успешная политическая стратегия. И не всегда возможно, не говоря уже о легкости, разжечь страх, недовольство, спровоцировать определенное восприятие и заблуждения, самоидентификации и идентификации другого – короче говоря, те диспозиции, то состояние сознания, при котором явная и рассчитанная националистическая позиция элит может приносить плоды⁷¹. И вовсе не всегда легко поддерживать подобное националистически направленное состояние сознания после его успешного пробуждения.

Слабо связанные между собой политические позиции и стратегии, которые мы называем «националистическими», сами по себе не гарантируют общего преимущества перед другими политическими позициями или стратегиями⁷². Инвестировать в национализм в целом не более целесообразно, чем инвестировать в любую другую политическую позицию или идиому. В определенные моменты, разумеется, национализм приносит большие выгоды. Но определить, когда такие периоды заканчиваются, очень сложно. А когда такой момент наступает, политики и аналитики часто ошибаются, делая чрезмерные обобщения. Падение коммунистических режимов, и прежде всего таких, которые управляли много- или двунациональными государствами, было, очевидно, именно таким моментом. Но как мы можем определить его временные границы? Мне кажется, что политические дельцы, которые пытались получить выгоду от чрезмерных инвестиций в эту успешную (на данный момент) политическую стратегию, явно переоценили ее потенциал. Так же переоценили значение общей теории национализма и роли манипулирующих элит те исследователи, которые поспешили извлечь выгоду из ранних инвестиций в изучение национализма в посткоммунистическом мире⁷³.

История посткоммунистической эпохи коротка. Но она достаточна для того, чтобы убедиться: националистические стратегии вовсе не всегда являются выгодными, даже в особых условиях посткоммунистического мира. Сегодня у нас есть уже довольно большой список проигранных националистами предвыборных компаний, включая Литву 1992 года, Венгрию 1994 года, Украину 1994 года, Беларусь 1994 года, Румынию 1996 года и другие страны⁷⁴. Особенно поразительной была неудача националистического лозунга, призывающего к необходимости защиты соплеменников, которые являются гражданами и жителями других государств. Хроническим источником крушения планов политических элит Венгрии являлось то, что рядовой венгр очень мало знает о судьбе соплеменников в Румынии, Словакии, в разрушенной Югославии или на Украине и еще меньше озабочен их судьбой. Рядо-

⁷¹ Само выражение проблематично: предполагая, что националистические страсти уже имеются для «возбуждения», оно говорит о трудностях, связанных с тем, что можно назвать «работой национализации».

⁷² Нюансированное и полезное обсуждение противоположной точки зрения см.: *Rothschild J. Ethnopolitics. N.Y., 1981. P. 41–66, особенно с. 64–65.*

⁷³ В другом смысле, аналитики явно недостаточно инвестировали в изучение национализма, т. е. их инвестиции были краткосрочными, а не долгосрочными. В поисках быстрой прибыли аналитики инвестировали не столько в углубленное изучение национализма, сколько в скороспелые дискуссии и в раздувание значения самого феномена национализма.

⁷⁴ Не следует заменять глобальную переоценку силы националистических политических призывов такой же глобальной недооценкой. Возвращение левых не означает, что национализм более не является реальной политической возможностью в регионе. Возвращение левых – в особенности тех левых, чья экономическая политика является гораздо более монетаристской и гораздо более приемлемой для МВФ, чем то, что предпринимали предшествующие правительства, – может вполне привести к возвращению правых. «Вернувшиеся левые» – вспомним коммунистов в России – так же способны к националистической политике, как и правые, если эти ярлыки вообще что-либо значат, в чем приходится сомневаться. У национализма не было фиксированного места в политическом спектре в те времена, когда еще имело смысл говорить о наличии такового. Сегодня же национализм локализован в еще меньшей степени.

воту венгру совсем не нравится, что венгерское правительство должно тратить «наши» деньги на «них» и что «они» приезжают в Венгрию и забирают «наши» рабочие места. «Их», безусловно, не признают за своих, и самое красноречивое свидетельство тому – то, что венгров, приезжающих на работу из Трансильвании, постоянно называют «румынами»⁷⁵. Похожим образом, неудачей окончились все попытки российских политиков организовать массовую поддержку русских, оставшихся в ближнем зарубежье. Организация, которая строила свою политическую программу вокруг этой проблемы, Конгресс русских общин, даже не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах 1995 года⁷⁶.

Второе проблематичное утверждение состоит в том, что если манипуляции элит довели Югославию до этнонационального варварства, то это может произойти и в других регионах. Я уже подверг критике верность заключения этого силлогизма, утверждая, что крупномасштабное насилие вряд ли случится между венграми и румынами в Трансильвании, невзирая на межэтническую напряженность. Теперь я хотел бы обратиться к посылке и рассмотреть ее.

Разумеется, манипуляции элит были важным элементом в развертывании югославской катастрофы. Тем не менее данный тезис не может определить те особые условия, которые обеспечили восприимчивость ключевых сегментов югославского населения к подобным манипуляциям в момент начала распада государства. В более широком смысле, он не объясняет, от чего зависит успешность мобилизирующих усилий элит, чрезмерно преувеличивая при этом силу и уровень этнических конфликтов. В югославском случае целый ряд особых факторов может помочь объяснить, почему люди оказались восприимчивы к циничным манипуляциям Белграда⁷⁷. Среди этих факторов – массовое межобщинное насилие времен Второй мировой войны; рассказы об этом насилии, которые, не будучи обсуждаемыми открыто, циркулировали в семьях, особенно в некоторых ключевых районах, таких, как населенная сербами Хорватская Крайна; страх, что это насилие повторится в условиях стремительного изменения системы контроля над средствами государственного насилия, в особенности когда контроль в Хорватии переходил в руки режима, который по меньшей мере неосторожно принял символы, ассоциировавшиеся для сербов с преступным режимом усташей времен войны. Разумеется, политики дают неверную картину прошлого. Но подобные картины резонировали в сознании югославского населения так, как нигде больше (за возможным исключением армяно-азербайджанского конфликта). И эти вариации в условиях восприимчивости к побуждающим призывам остаются вне теоретических объяснений концепции манипуляции элит.

Третье проблематичное утверждение, связанное с этой концепцией, состоит в том, что она понимает национализм как политику интереса, а не как политику идентичности и поэтому считает, что национализм необходимо объяснять в терминах инструментальности, фокусируясь на расчетах циничных оппортунистических элит, а не на исконных национальных идентичностях. Мы же в принципе не должны выбирать между инструментальным подходом и подходом, основанным на идентичности. Ошибочность этого противопоставления становится очевидной, если мы обратим внимание на когнитивное измерение национализма. С когнитивной точки зрения национализм – это способ видения мира, способ идентификации интересов или, еще точнее, способ определения единиц-носителей интереса или

⁷⁵ Это не является, разумеется, венгерской спецификой: немцев, переселившихся из Казахстана в Германию, называют русскими, подобно тем российским или советским евреям, которые переселяются в Израиль.

⁷⁶ Отсутствие успеха на выборах у тех, кто пропагандирует защиту русских за пределами России, не означает, что эта тема исчезнет из российского политического дискурса. Даже если такие призывы и не находят отклика на внутренней арене, они могут с успехом использоваться на арене внешней, международной. Эта тема подробнее рассматривалась в работе: *Brubaker R. Op. cit. Гл. 5.*

⁷⁷ Для более детального обсуждения вопроса см.: *Ibid. P. 72 ff.*

единиц, в отталкивании от которых происходит формулирование интересов. Национализм предоставляет модель видения и разделения мира, говоря словами Пьера Бурдьё, модель социального учета и отчета. Таким образом, национализм внутренне связывает интерес и идентичность путем идентификации того, как мы должны определять свои интересы.

Разумеется, «интересы» лежат в центре националистической политики, в центре любой политики, в центре социальной жизни вообще. Ошибочность тезиса о манипуляции со стороны элит состоит не в том, что этот тезис не замечает интересов, а в том, что он слишком узко их понимает, фокусируясь в основном на расчетливом преследовании собственных интересов (прежде всего интересов политиков в приобретении и удержании власти). Считая подобное преследование интересов естественным и игнорируя более широкий вопрос о конституировании интересов, в частности вопрос о том, каким образом конституируются и идентифицируются общности, способные выступать носителями интересов (в особенности «нации», «этнические группы» и «классы»), сторонники тезиса о манипуляции со стороны элит слишком сужают поле исследования. Дискурс элит часто играет важную роль в конституировании интересов, однако же политические и культурные элиты не могут делать это по собственной воле, посредством применения пары манипулятивных трюков. Идентификация и конституирование интересов – в национальных или иных терминах – является сложным и многосторонним процессом, который не может быть сведен только лишь к манипуляции со стороны элит.

5

Пятое положение, которое я хотел бы разобрать, заключается в том «группизме», который до сих пор превалирует в изучении национализма и этничности. Под «группизмом», или, как я его еще называю, «реализмом группы», я понимаю социальную онтологию группы, которая приводит к пониманию этнических групп и наций как реальных сущностей, как субстанциальных, продолжающихся во времени, внутренне гомогенных и внешне отграниченных коллективов.

Похожий «реализм группы» в течение долгого времени господствовал во многих отраслях социологии и родственных ей дисциплин⁷⁸. И тем не менее в последнее десятилетие совместное влияние по меньшей мере четырех различных тенденций подрывало представление о группах как о реальных субстанциальных сущностях. Первой тенденцией был рост интереса к феномену социальных сетей, расцвет теории «сети» и все увеличивающееся использование термина «сеть» в качестве обобщающего и ориентирующего образа или метафоры в социальной теории. Второй тенденцией стала теория «рационального действия» с ее неустанным методологическим индивидуализмом, которая существенно подрывала реалистическое понимание группы. Третьим элементом явился переход от широкой структуралистской теории к ряду более конструктивистских позиций; если первый подход считал группы делящимися компонентами социальной структуры, то второй подчеркивал сконструированность, случайность и текучесть групп. Наконец, возникающая постмодернистская методология подчеркивает фрагментарность, эфемерность и эрозию фиксированных форм и ясных границ. Эти четыре тенденции различны, даже взаимно противоречивы. Но они сыграли совместную роль в проблематизации группы и в подрыве значения аксиомы стабильности группового бытия.

И все же уход от «реализма группы» в социальных науках был неравномерным. Особенно сильно он проявился в исследованиях класса, в частности рабочего класса. Термин

⁷⁸ Этот аргумент берет свое начало (а также аргумент, развитый в следующем абзаце) и представлен в полном виде в работе: *Ibid.* Гл. I, особенно с. 13 и след.

«рабочий класс» невозможно сегодня использовать без кавычек или какого-либо другого дистанцирующего референта. И действительно, рабочий класс, понимаемый как реальная сущность или субстанциальное сообщество, сегодня растворился как объект анализа. В размытии этого понятия сыграли роль теоретические работы и детальные эмпирические исследования в области социальной истории, истории труда и повседневных представлений, а также социально-политической мобилизации. Исследование класса как культурной и политической идиомы, как способа существования конфликта, абстрактного измерения экономической структуры остается жизненно важным; но подобное исследование более не сопровождается пониманием класса как реальной, длящейся сущности.

В то же время понимание этнических групп и наций как реальных сущностей продолжает вдохновлять исследования в области этничности, национальности и национализма. В разговорной речи и в письменных текстах мы обычно «овеществляем» этнические и национальные группы, говоря о «сербах», «хорватах», «эстонцах», «русских», «венграх», «румынах», как если бы они были внутренне гомогенными и внешне отграниченными группами, в некотором смысле даже унитарными действующими лицами с общими целями. Мы представляем себе социальный и культурный мир в образах, напоминающих полотно Модильяни, как многоцветную мозаику, состоящую из одноцветных этнических или культурных блоков.

Хотелось бы остановиться на этом образе социального мира а-ля Модильяни. Я заимствую эту метафору у Геллнера. В конце своей книги «Нации и национализм» Геллнер прибегает к контрастирующим стилям письма двух художников – Кокошки и Модильяни (линии и переходы цвета и света – в первом случае, четкие, остро прорисованные цветовые блоки – во втором), чтобы охарактеризовать переход от культурного ландшафта донационального аграрного общества к культурному ландшафту общества индустриального, национально и культурно гомогенизированного⁷⁹.

Этот образ очень ярок, но, как мне кажется, он вводит в заблуждение. По сути, есть две версии «аргумента модильянизации». Первая – в том числе версия самого Геллнера – национальногосударственная. Ее аргумент состоит в том, что культура и политая постепенно смешиваются друг с другом. Геллнер был мастером сжатых характеристик громадных трансформаций всемирно-исторического масштаба. Без сомнения, в очень широкой исторической перспективе можно говорить о существенной культурной гомогенизации политий и о последующем совпадении культурных и политических границ. Тем не менее есть две трудности с подходом Геллнера.

Во-первых, упор, который делал Геллнер на гомогенизации, функционально требовавшейся для развития индустриального общества, как мне представляется, серьезно смещает смысл аргумента. Геллнер чрезмерно подчеркивает степень культурной гомогенизации, которая «требуется» для индустриального общества; обходит проблемы, которые ставит функционалистский анализ (заметить, что что-либо может «потребоваться» или может «быть полезным» для чего-либо, не значит объяснить происхождение феномена; нет механизма, который гарантировал бы, что «требуемое» произойдет на самом деле); уделяет мало внимания гомогенизирующему давлению межгосударственного соревнования, массового военного призыва и массового и национально ориентированного общего образования в классический век гражданской массовой армии. Все это, на мой взгляд, воздействия более мощные, чем те, которые были вызваны промышленным производством как таковым⁸⁰.

⁷⁹ Gellner E. Op. cit. Oxford, 1983. P. 139–140.

⁸⁰ Геллнер, разумеется, уделял серьезное внимание образованию (см.: Ibid. P. 3). Но он считал, что массовое «экзобразование» возникает по логике индустриального общества, а не по логике межгосударственного соревнования в век массовой войны.

Во-вторых, Геллнер не уточнил, работают ли до сих пор гомогенизирующие силы индустриального общества или позднее индустриальное общество уже более не является гомогенизирующим. Ответ на этот вопрос должен быть дифференцированным. В некотором смысле, например, в распространении единой глобальной материальной культуры и диспозиций, с ней связанных, мощные гомогенизирующие силы все еще действуют. В других аспектах дело обстоит иначе. Например, сама логика постиндустриального общества создает давление, вынуждающее импортировать массы иммигрантского труда, что, в свою очередь, воссоздает культурную модель, напоминающую стиль Кокошки.

Тем не менее кажется бесспорным, что гомогенизирующие силы, созданные межгосударственным соревнованием в классический век массовой гражданской армии, достигли своего апогея (по меньшей мере в развитом индустриальном мире) в конце XIX – начале XX века. Я бы назвал его моментом а-ля Модильяни в максимуме: это был апогей гражданской армии, «нации, призванной к оружию», период распространения в высшей степени ассимиляционных, гомогенизирующих школьных систем, связанных, по стилю и идеологии, с гражданскими массовыми армиями. Это также был момент, когда звучали претензии национальных государств на абсолютный внутренний суверенитет, претензии, которые легитимизировали попытки «национализировать» территории этих государств «по собственной воле», порою жестоко. Когда этот момент а-ля Модильяни в максимуме прошел, произошло некоторое ослабление гомогенизирующих претензий, желаний и практик государств, по меньшей мере в тех регионах земного шара (наиболее яркий пример – Западная Европа), где государства освободились от необходимости участвовать в жесточайшем геополитическом и потенциально военном соревновании друг с другом.

Однако классическая, национально-государственная версия аргумента «карты Модильяни» сегодня не является преобладающей. Более или менее общепризнано, что культура и политика не совпадают и не смешиваются, что практически все существующие политики в некотором смысле «поликультурны» (multicultural). И все же поликультурные ландшафты поздней современности сами обычно описываются в терминах а-ля Модильяни, т. е. в образе противостоящих, четко очерченных монохромных блоков. Я утверждаю, что эта новейшая, постнациональная (или, что более точно, постнационально-государственная) версия карты Модильяни является настолько же проблематичной, насколько проблематичной являлась старая, классическая национально-государственная версия.

Можно предположить, что смешанные модели расселения, характеризующие большинство современных поликультурных государств, будут оказывать сопротивление репрезентациям а-ля Модильяни. Согласно этой логике, вызванная иммиграцией этническая гетерогенность, подобная той, что существует в США, должна особенно остро противостоять этим репрезентациям, так же как и тесно перемешанные этнодемографические ландшафты Восточной Европы (в особенности Восточной Центральной Европы), поскольку это *locus classicus* этнически и национально смешанного заселения.

Однако подобный ход мысли ошибочно оценивает природу и риторическую мощь карты Модильяни. Пространственный аспект этой репрезентации – вид протяженных и однородных блоков, расположенных один подле другого, а не взаимопроникающих – не должен интерпретироваться буквально; вовсе не обязательно, что это соответствует пространственным характеристикам того, что репрезентируется. Представленная в стиле Модильяни гетерогенность как противопоставление однородных блоков не означает, что эти блоки территориально локализованы. Они могут быть перемешаны в пространстве, поскольку их «отдельность» – ограниченность и внутренняя однородность – концептуально находится не в физическом пространстве, а в социальном и культурном⁸¹. Но наша *концептуальная* карта

⁸¹ Тем не менее даже смешанные модели заселения часто представляются в образах мозаики, как составленные из огра-

остается группоориентированной; на ней все еще изображается население, состоящее из определенных и определяемых, ограниченных, внутренне гомогенных блоков (например, афроамериканцы, коренные американцы, латинос, американцы азиатского происхождения и евроамериканцы, согласно «пентагональной» мультикультуралистской схеме Америки)⁸². Предполагаемый, если и не явный, образ общества состоит в изображении внутренне гомогенных, внешне резко очерченных, хотя и не обязательно территориально локализованных этнокультурных блоков.

Факт всепроникающего территориального смешения сам по себе еще не противоречит представлениям об этнокультурной гетерогенности а-ля Модильяни. Для того чтобы оспорить карту Модильяни, необходимо подвергнуть прямому сомнению групповую социальную онтологию, на которой основывается эта карта. На ней же основывается большинство дискуссий о мультикультурализме в Северной Америке и, разумеется, большинство работ о национализме и этничности по всему миру. На сегодняшний день имеется обширная и серьезная литература, которую можно призвать в союзники для подтверждения обоснованности подобных сомнений. Более того, как я уже отмечал выше, целый ряд тенденций в социальной теории последних десятилетий ставит под сомнение представления о существовании устойчивой и четко отграниченной «группности». И тем не менее эти существенные теоретические и эмпирические ресурсы серьезно не задела группизм, который продолжает превалировать и даже усиливается в последнее время в теоретических и практических дебатах о национализме и этничности. Это присутствие группизма, веры в «онтологию группы» поддерживается объединенными силами группистского обыденного языка, местными научными традициями (в особенности в области изучения рас, этничности, конкретных регионов), а сейчас и быстро распространяющейся дисциплиной изучения национализма. Этот группизм также поддерживают институционализация и кодификация групп и групповых идентичностей в общественной и политической сферах и усилия политических активистов от этнополитики по созданию и упрочению групп.

В Восточной Европе те силы, которые поддерживают и усиливают групповую социальную онтологию и группистский социальный анализ, являются более мощными, чем в Северной Америке. Институционализация и кодификация этнических и национальных групп, как было отмечено выше, зашла в коммунистических многонациональных государствах гораздо дальше, чем в Северной Америке. Более того, в Восточной Европе слабее представлены исследовательские традиции и интеллектуальные школы – от теории рационального выбора и анализа социальных сетей до конструктивизма и постмодернистской артикуляции переходного и фрагментарного в социальной жизни – чей вклад там много дал для переосмысления феномена «группности». Что еще более важно, в Восточной Европе нет индивидуалистических традиций Северной Америки, прежде всего фундаментально волонтаристских концепций группности, которые берут свое начало в сектантском протестантизме, но ответвления которых видны повсюду в социальной и политической жизни, особенно в Соединенных Штатах.

ниченных, внутренне гомогенных блоков. «Гетерогенность», при таком способе воображения, – это всего лишь распределение гомогенных единиц. Гетерогенность все еще концептуализируется в группистских терминах. Иногда этому можно найти буквальное подтверждение в картах «этнической неоднородности», где эта неоднородность и смешение представлены в виде противопоставленных цветовых полей. Как представить этническую неоднородность на двухмерной карте, является непростым и с философской точки зрения интересным вопросом. В любом случае ясно, что простое противопоставление густых цветовых полей вводит в заблуждение, поскольку предполагает большую степень местной однородности, чем на самом деле существует, и поскольку относит гетерогенность и различие на уровень более высокой единицы. Например, подобные карты предполагают, что провинции отличаются друг от друга, а деревни или регионы – нет. Подобное предположение часто вводит в заблуждение.

⁸² По поводу критического обсуждения концепций этого мультикультуралистского пятиугольника см.: *Hollinger D. Post-Ethnic America*. N.Y., 1995; *Lind M. The Next American Nation*. N.Y., 1995.

Более того, можно утверждать, что преобладающий группистский язык социального анализа в Восточной Европе вполне удачно описывает этнонациональный ландшафт региона. В конце концов, в этом регионе долгое время существовало явное противоречие между границами *национальными*, упорно поддерживавшимися *внутри* государств и *против* государств, и *государственными*. Этот регион являлся *locus classicus* глубоко устоявшихся, неподатливых и относительно стабильных этнонациональных границ, соответствовавшим в большей части региона лингвистическим, а не политическим линиям раздела. Те самые силы, которые очевидно препятствовали конвергенции государственности и культуры в регионе, давая возможность этнонациональным группам поддерживать линии раздела, перерезавшие политические границы, могли бы свидетельствовать в пользу представлений а-ля Модильяни.

И действительно, в регионе встречаются впечатляющие примеры поддержания «группности», в частности примеры поддержания границ групп и групповых идентичностей вопреки гомогенизирующим, ассимиляционным устремлениям и практикам национализирующихся государств. Один из таких ярких примеров – поляки в Восточной Пруссии в конце XIX – начале XX века. Тем не менее, основываясь на этом примере, нельзя делать обобщения в масштабах всего региона. Более того, логику этого примера нельзя распространять на другие ситуации с поляками и немцами. В иных случаях границы и рубежи между поляками и немцами оказывались слабыми и неустойчивыми, и существенная ассимиляция происходила в обоих направлениях. Поддержание и усиление национальных рамок в этом случае нужно рассматривать как сложившееся под воздействием определенных сил и факторов в конкретных обстоятельствах, а не как результат качеств, имманентных полякам как таковым. В приведенном выше примере усиление «группности» произошло в виде динамичного, интерактивного и организованного ответа на вызов поспешных ассимиляторских практик германского государства и включало в себя высоко развитое сельскохозяйственное кооперативное движение, кредитные ассоциации, организации по закупке земли, школьные забастовки и мощную поддержку со стороны католической церкви. Это усиление группы поддерживалось мощной базой в лице католической церкви (откуда следует религиозная и этнолингвистическая эндогамия) в регионе, где лингвистические и религиозные границы часто совпадали (в тех районах, где немцы-католики вступали в отношения с поляками, национальные границы были гораздо слабее). «Группность», таким образом, была результатом политики и коллективного действия, а вовсе не их источником⁸³.

В других случаях границы оказывались гораздо слабее. Возьмем, к примеру, Украину периода последних лет существования СССР и первых лет после его распада. Как уже было отмечено выше, советский режим повсюду институционализировал национальность как фундаментальную социальную категорию. Ключевым выражением (и инструментом) этой институционализированной схемы являлась перепись, которая отмечала самоидентифицируемую этнокультурную национальность каждого человека. Во время переписи 1989 года около 11,4 миллиона жителей Украины определяли свою национальность как «русский». Но точность, которая является нам в данных переписи, даже при округлении до сотни тысяч, абсолютно обманчива. Сами категории «русский» и «украинец», которые означают предполагаемые и четко обособленные этнокультурные национальности, глубоко проблематичны в контексте Украины, где процент межэтнических браков необычайно высок и где почти два миллиона тех, кто определил свою национальность как «украинец (украинка)» при переписи 1989 года, признались, что не говорят на украинском как на своем родном языке или как на втором языке, которым владеют свободно. Поэтому следует скептически отнестись к иллю-

⁸³ См. общую дискуссию по этому вопросу: Calhoun C. The Problem of Identity in Collective Action // Macro-Micro Linkages in Sociology / Ed. by J. Hubert. Newbury Park, 1991. P. 59.

зии сплоченной и отграниченной группы, сотворенной переписью с ее всеохватывающими и взаимоисключающими категориями. Можно представить себе условия, при которых осознающее свою отдельность этнически русское меньшинство может возникнуть в Украине, но такая «группа» не может считаться данной или быть выведенной из результатов переписи⁸⁴.

Граница между венграми и румынами в Трансильвании безусловно более четкая, чем между украинцами и русскими в Украине. Тем не менее даже в Трансильвании групповые границы гораздо более пористы и нестабильны, чем это обычно предполагается. Разумеется, язык повседневной жизни чрезвычайно категоричен. Он делит население согласно взаимоисключающим этнонациональным категориям, не допуская поправок на смешанные или неоднозначные формы. Но этот категорический код, важный в качестве *основоопределяющего элемента* социальных отношений, не может считаться *верным и точным описанием* этих отношений. Усиливаемый и воспроизводимый этнополитическими активистами с обеих сторон, этот категорический код в равной степени и раскрывает, и затемняет характер этнонациональной идентификации, скрывая текучесть и двусмысленность, которые возникают при межэтнических браках, в случаях двуязычия, при миграции, в ситуациях, когда венгерские дети ходят в румыноязычные школы или когда происходит ассимиляция (в обоих направлениях), связанная со сменой поколений, не говоря уже о таком простом случае, как обыкновенное равнодушие людей к притязаниям на этнокультурную национальность.

«Группность» и «сплоченность» должны, таким образом, рассматриваться как вариативные характеристики, как возникающие качества определенных структурных или конъюнктурных ситуаций; они не могут без должного основания рассматриваться как аксиоматичные или данные. Сравнительные исследования в области этничности и национализма дают этому тезису массу подтверждений, но сам тезис остается сравнительно мало оцененным вне этой специализированной исследовательской традиции. Сегодня этот тезис следует отметить особо, поскольку спонтанный группистский язык, господствующий в обыденной жизни, журналистике, политике и социальном анализе, язык, состоящий отчасти в привычке говорить в неопределенной форме о «румынах» или «венграх», как если бы они и вправду были внутренне гомогенными и внешне отграниченными группами, не только ослабляет социальный анализ, но и подрывает возможности либеральной политики в регионе.

6

Последняя идея, которую мне хотелось бы обсудить, – это манихейская теория того, что существует два типа национализма: хороший (гражданский) и плохой (этнический). Им соответствуют две концепции нации: хорошая, или гражданская, в логике которой национальная рамка считается соположенной общему гражданству, и плохая, или этническая, согласно которой национальная рамка основывается на этнической общности. Подобное деление часто связано с ориенталистской концепцией восточноевропейского национализма, поскольку в общем считается, что гражданский национализм характерен для Западной Европы, а этнический – для Восточной. Но различие между этническим и гражданским типами национализма часто можно встретить и внутри регионов – оно используется, нередко в идеологическом модусе, для разграничения между собственным, легитимным гражданским национализмом и нелегитимным этническим национализмом соседей. В научном или квазинаучном модусе эта оппозиция характеризует различные формы национализма и типы национального самосознания. Сегодня именно это различие является смыслообразующим в дебатах о новых государствах Восточной Европы и бывшего СССР и о процессах государ-

⁸⁴ Данные по национальности и языку приведены по изд.: Национальный состав населения СССР / Госкомстат СССР. М., 1991. С. 78–79.

ственного и национального строительства в регионе. Оно предлагает удобное (даже слишком удобное, на мой взгляд) средство для классификации зачаточных процессов государственного или национального строительства в качестве этнических или гражданских.

Называя эту теорию манихейской, я изображаю ее, безусловно, в карикатурном виде, но не чрезмерно. Различие между этническим и гражданским национализмами, безусловно, имеет свои положительные аналитические и нормативные стороны (во всяком случае, более нюансированные формы этого различия). Я сам использовал схожее (хотя и не идентичное) различие между этнокультурным и государствоцентричным пониманием рамки национального сообщества в своей предыдущей работе⁸⁵. Тем не менее я считаю, что деление национализмов на этнические и гражданские, особенно в той упрощенной форме, в какой это деление обычно представляют, является проблематичным как в аналитическом, так и в нормативном смысле⁸⁶.

Один из способов указать на аналитическую слабость этого манихейского взгляда состоит в том, чтобы отметить двусмысленность и неуверенность в концептуализации культурного измерения национальности и национализма. Грубо говоря, есть два способа наложения культурных параметров на схему разделения этнического и гражданского национализмов.

1. С одной стороны, этнический национализм можно толковать очень узко, подчеркивая его сфокусированность на происхождении и, в конечном итоге, на расе, на биологии. В таком случае мы найдем слишком мало этнических национализмов, так как, в рамках этого подхода, подчеркивание общей культуры (без отчетливого упоминания общего происхождения) должно считаться видом гражданского национализма. Но тогда категория гражданского национализма становится слишком гетерогенной, а категория этнического национализма теряет всякий смысл применительно к реальности (у нее не остается примеров), и использование этих терминов вообще становится невозможным.

2. С другой стороны, этнический национализм можно, наоборот, толковать слишком широко, как этнокультурный, а гражданский, будучи истолкованный узко, будет предполагать культурно-дистанцированную концепцию гражданства и строгое разграничение между гражданством, с одной стороны, и этнической и культурной национальностью – с другой. Но тогда мы имеем проблему, прямо противоположную той, что возникла у нас в первом случае: гражданский национализм стремительно теряет реальные очертания (т. е. невозможно будет вообще говорить о его существовании) и практически все виды национализма нужно будет определять как этнические или культурные. Даже парадигматические случаи гражданского национализма, такие как во Франции или Америке, перестают быть гражданскими, поскольку имеют решающий культурный компонент. (Любопытно, что две недавние работы утверждают существование американской культурной национальности: ее рамка, согласно этим исследованиям, – не просто политическая, основанная на идее, но культурная; Америка – это национальное государство, основанное на общей и обособленной американской культуре⁸⁷.)

Нормативная слабость деления на гражданский и этнический национализм подобным же образом обнаруживает двусмысленную роль культуры:

а) если этнический национализм толковать как этнокультурный, тогда нормативная критика этнического национализма проблематична, поскольку в определенных ситуациях довольно легко, в нормативном смысле, ощутить симпатию по отношению к защитной функ-

⁸⁵ *Brubaker R.* *Citizenship and Nationhood in France and Germany.* Cambridge, 1992.

⁸⁶ *Yack B.* *The Myth of the Civic Nation // Critical Review.* Vol. 10 (1996). Статья содержит критику дихотомии гражданского и этнического с точки зрения политической теории.

⁸⁷ См.: *Hollinger D.* *Post-Ethnic America.* N.Y., 1995; *Lind M.* *The Next American Nation.* N.Y., 1995.

ции этнокультурного национализма (примеры – Польша периода разделов, прибалтийские народы под советским управлением, любые культурные меньшинства, чей национализм не может принять гражданские формы, хотя и не является в обязательном порядке «этническим» в строгом, основанном на биологии смысле);

б) если же культура мыслится как соположенная гражданской национальной рамке и гражданскому национализму, тогда многие виды национализирующегося «гражданского» национализма предстанут с точки зрения нормативного суждения как по меньшей мере двусмысленные, тем более что такие виды национализирующегося «гражданского» национализма, как правило, оказываются впитавшими в себя культурный шовинизм и стремящимися к уменьшению или (в пределе) уничтожению культурной гетерогенности в государстве, будь они даже безразличны к этничности в смысле происхождения.

С нормативной точки зрения объединение мощи государства с националистическими или национализирующими практиками должно всегда вызывать озабоченность. Скептическая позиция по отношению к государственным национализирующим национализмам (ее не следует уравнивать с простым и однозначным осуждением этих национализмов) является более адекватной и гибкой, чем концептуально запутанное и безусловное восхваление гражданского и осуждение этнического национализма. Политика и практика национализирующих государств могут быть ассимиляторскими, в ряде вариантов проходя по шкале от мягкого (или не очень мягкого) забвения этнических и культурных различий до резких (а порою и насильственных) попыток эти различия уничтожить. С другой стороны, национализирующие политика и практика могут быть диссимиляторскими, основанными на фундаментальном различии между группами или даже создающими эти самые различия. Ассимиляторские позиции не обязательно являются «гражданскими» в нормативно строгом смысле этого понятия, тогда как диссимиляторские позиции вовсе не обязательно «этнические» в узком смысле (они не всегда основаны на групповом различии, идущем от происхождения). Как ассимиляторские, так и диссимиляторские национализирующие национализмы требуют нормативного скептицизма, хотя наша нормативная оценка будет в большой степени зависеть от богатства контекстуального знания, которое не может, в свою очередь, быть передано бедным и неоднозначным описанием типов национализма как «этнического» или «гражданского».

С аналитической точки зрения гораздо более полезным (хотя и тесно соотнесенным с вышеуказанной типологией) может быть различие между пониманием национальности и формами национализма, основанными на государстве (или им оформленными), с одной стороны, и контргосударственными – с другой. В первом случае «нация» считается соположенной государству, она воспринимается как институционально и территориально оформленная государством; во втором случае «нация» находится в оппозиции к территориальным и институциональным рамкам некоего существующего государства или государств. Это различие может выполнять задачу, возлагавшуюся на оппозицию между этническим и гражданским национализмами без сопутствующих последнему затруднений.

Очевидно, нет ничего обязательно «гражданского» (в нормативно четком смысле этого термина) в государствоцентричном национализме или понимании национальности. Государство, а не общее гражданство является кардинальной точкой отсчета; государство, которое оформляет нацию, вовсе не обязательно демократично, не говоря уже о степени этой демократичности. Более того, понятия государствоцентричного национализма или национальной рамки могут вполне вместить лингвистические, культурные и даже этнические аспекты национальной общности и национализма в такой степени, в какой они оформлены, опосредованы и сформированы государством (как это зачастую и бывает в действительности)⁸⁸.

⁸⁸ Францию опять можно привести в качестве примера государственнической национальности. Культура в действи-

Освобождаясь от ограничивающей антитезы гражданского и этнического или этнокультурного национализма, мы видим, что государствоцентричные национализмы часто обладают сильным культурным компонентом и могут быть (хотя и не обязательно) этницизированными⁸⁹.

Однако контргосударственные национализмы не обязательно являются этническими; национальная рамка сообщества, воспринимаемого как находящегося в оппозиции к существующему государству, вовсе не всегда видится в этнических или даже этнокультурных терминах. В отличие от упоминавшегося выше различия между узким этническим и широким этнокультурным пониманием национальности контргосударственные определения нации могут основываться на территории, исторических привилегиях провинций, на особых политических историях до инкорпорации в более крупное государство и т. д. Все эти случаи указывают на контргосударственное, но не этническое понимание национальной рамки и понимание нации, определяемой в оппозиции к институциональным и территориальным рамкам существующих государств, без обращения к особой этнической или этнокультурной общности. Более того, определяется ли контргосударственный национализм в этнических или этнокультурных терминах или нет, такой национализм может воспринять некоторые «гражданские» качества: в рамках контргосударственных националистических движений, настойчиво требующих политического участия, могут быть созданы условия для культивирования, выражения и осуществления культуры политического участия, а вместе с ней и гражданской добродетели. Данную ситуацию невозможно описать в рамках дихотомии гражданского-этнического национализма, так как она ошибочно, как само собой разумеющееся, приписывает все проявления гражданской добродетели «гражданскому» национализму и отказывает в них национализму «этническому».

Заключение

«Опасные заблуждения», которые я разобрал в этой работе (некоторые из них прямо противоречат друг другу), не складываются в единую теорию национализма. Я и сам не стремился к созданию подобной теории, критикуя эти постулаты и заблуждения. Поиск некой (или главной) теории национализма, так же как и поиск определенного (или универсального) решения национальных конфликтов, является, по моему убеждению, заблуждением: как теоретические, так и практико-политические проблемы, связанные с национальностью и национализмом, обладают множеством форм и не поддаются разрешению в рамках одного теоретического (или практического) подхода. Моей задачей было не создание комплексной теории национализма, а определение некоторых путей преодоления аналитических клише, теоретических тупиков и практических позиций, основанных на заблуждении, а также выявление более плодотворных способов осмысления национализма и национальных конфликтов и практического обращения с ними.

тельности составляет (а не только выражает, как я утверждал в своей работе: *Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany*) французскую национальность; но эта культура пронизана государственным влиянием и им оформлена, она не воспринимается как нечто существовавшее до или независимо от территориальных и институциональных рамок государства.

⁸⁹ Опять же, в этом случае надо говорить о государственнической этнизации национальности, а не о какой-либо догосударственной или внегосударственной этничности. «Этничность» и «культура», таким образом, могут встречаться в государственническом национализме, но лишь в той степени, в какой они сами сформированы государством. Не существует противоречия между государственническим компонентом, с одной стороны (поскольку он относится к оформлению), и этничностью и культурой – с другой.

Роджерс Брубейкер Именем нации: размышления о национализме и патриотизме⁹⁰

Сто двадцать лет тому назад выдающийся французский ученый и писатель Эрнест Ренан выступил в Сорбонне с лекцией на тему «Что есть нация?». Эта лекция состоялась двенадцать лет спустя после Франко-прусской войны, которая закончилась для Франции потерей Эльзаса-Лотарингии – области, на которую немецкие националисты претендовали в силу того, что ее население в основном говорило по-немецки. В ответ на их притязания Ренан привел весомые аргументы и выступил с критикой того, что он называл «этнографическим» определением национальной принадлежности: попытки установить национальные границы на основе таких – объективных, как принято считать, – характеристик, как раса, язык или культура. Ренан утверждал, что национальность, в сущности, – это субъективный феномен, основанный на «желании жить вместе». Знаменитая метафора Ренана определяет нацию как «ежедневный плебисцит»⁹¹.

Определение национальности Ренана сохраняет убедительность и сегодня. И все же мне хотелось бы привлечь внимание не к блестящему ответу Ренана на им же заданный вопрос, но к самому вопросу, над которым с тех пор размышляло великое множество людей. Формулировка вопроса «что есть нация?» не вполне корректна, поскольку подталкивает нас к тому, чтобы определять национальность в категориях объективной реальности, рассматривать нации как особые явления (сообщества?). Она отражает представление о нации как о некой материальной сущности, хотя, возможно, трудноопределяемой.

Я хочу поставить вопрос несколько иначе: как работает понятие «нация»? Такая формулировка заставляет нас отказаться от расхожего понимания нации как сообщества людей, коллектива, особого организма. Вместо этого она задает взгляд на нацию как на концептуальную категорию, понятие, а на национализм – как на особый язык политики, способ обращения с данной категорией.

Я исхожу из того, что принадлежность к нации – это не этнодемографический или этнокультурный факт, а политическое заявление, которое требует от людей верности, внимания, взаимной солидарности. Если мы будем рассматривать принадлежность к нации не как реальность, но как заявление, то мы увидим, что «нация» не является чисто аналитической категорией. Это понятие используют не для того, чтобы описывать мир, существующий независимо от языка описания. Напротив, к этому понятию прибегают для того, чтобы изменить мир, изменить восприятие людьми самих себя, мобилизовать их, воззвать к их преданности, пробудить их энергию, сформулировать требования. Это хорошо понимал Макс Вебер, принадлежавший к следующему за Ренаном поколению, когда определял «нацию» как *Wertbegriff*, т. е. понятие, относящееся к разряду ценностных категорий⁹². Выражаясь современным языком, можно сказать, что нация – это в первую очередь категория практики, а не категория анализа.

Вместо того чтобы пользоваться нацией как инструментом анализа, я хочу превратить в объект изучения само это понятие. Я не задаюсь вопросом, что такое нация, а спрашиваю,

⁹⁰ Более ранний вариант этой статьи был подготовлен для конференции «Многоликий патриотизм» (The Many Faces of Patriotism), которая проходила 11–12 сентября 2003 года в Детройте (США). Я хотел бы поблагодарить Роба Янсена, Кристи Сурак, а также редакторов и рецензентов журнала *Citizenship Studies* за ценные замечания.

⁹¹ *Renan E.* What is a nation? [1882] // *Becoming National: A Reader* / Ed. by G. Eley, R.G. Suny. N.Y., 1996.

⁹² *Weber M.* *Wirtschaft und Gesellschaft* [1922]. Köln, 1964. S. 675,677: *Idem.* *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* [1922]. Berkeley, CA, 1978. P. 922, 925.

каким образом работает это понятие как категория практики, как выражение, бытующее в языке политики, как политическое требование. Что означает говорить «от имени нации»? Как надлежит оценивать такую практику? Можно ли ее оправдать и следует ли поощрять? Или же употребление этого слова – нация – в лучшем случае является анахронизмом, а в худшем – просто опасно?

Я не стану пытаться дать обобщенный ответ на эти нормативные вопросы, поскольку считаю, что на них нельзя убедительно ответить в общем: понятие нации используется для решения слишком многих проблем в самых разных контекстах. Во второй части настоящей статьи, где предлагаются ответы на эти нормативные вопросы, я ограничиваюсь контекстом современных Соединенных Штатов. Однако начну я с анализа того, каким образом работают притязания на статус нации в различных обстоятельствах. В некоторых условиях сообщество, которое националисты представляют как «нацию», не совпадает с территорией или со всеми гражданами того или иного государства. В этих случаях притязания на статус нации вступают в противоречие с существующим территориальным и политическим устройством. Заявления о принадлежности к особой нации выражают требование изменить политическую карту или по крайней мере предполагают возможность таких изменений. Речь не всегда идет о предоставлении государственной независимости, но, как правило, такие требования включают в себя по крайней мере создание автономии, т. е. такого политического образования, которое может представлять потенциальную нацию и служить ее интересам. Сказанное справедливо для первой волны националистических движений в Центральной и Восточной Европе XIX века. В качестве современных примеров можно назвать палестинское, фламандское, ачехское, тамильское и многие другие националистические движения.

Подобные притязания на статус нации (nationhood) обращены в первую очередь к людям, потенциально к ней принадлежащим. Цель этих заявлений – изменить представление людей о самих себе, их идентичность. Такие заявления могут быть обращены к тем, кто раньше воспринимал себя не в национальных, а, например, в конфессиональных категориях, или же отождествлял себя с локальной общностью, или видел себя прежде всего подданным императора, чтобы эти люди стали определять себя в национальных категориях. В другом случае они могут быть направлены на то, чтобы люди стали воспринимать себя принадлежащими к *другой* нации. Скажем, убедить их в том, что они не испанцы, а баски или каталонцы, не турки, а курды, не канадцы, а квебекцы.

Притязания на статус нации (nationhood) обращены не только к потенциальным членам нации, но также и к тем, кто занимает положение, дающее право подтвердить справедливость данных заявлений. Власть подтверждать или не признавать национальные притязания принадлежит прежде всего государствам, хотя значение могут иметь и другие влиятельные политические игроки. Под подтверждением притязаний на статус нации я имею в виду получение потенциальной нацией определенного официального признания или же создание каких-то официальных институтов для ее существования, вплоть до самого ценного официального признания – обретения статуса независимого государства.

Таким образом, исходная функция, выполняемая категорией «нация» в контексте национальных движений, направлена на то, чтобы создать политическое устройство для потенциальной нации. В других условиях эта категория используется совсем иначе: она применяется не для того, чтобы бросить вызов существующему территориальному и политическому порядку, а для формирования в том или ином государстве чувства национального единства. Эту функцию часто называют национальным строительством (nation-building), о котором в последнее время так много говорится. Именно национальное строительство имел в виду итальянский государственный деятель Массимо д'Адзельо, автор известного высказывания: «Мы сотворили Италию, теперь мы должны создать итальянцев». Такого рода работой были заняты и продолжают заниматься до сих пор (кто с большим, кто с меньшим успехом, но все

же так и не добившись особых результатов) руководители постколониальных государств. Эти государства завоевали независимость, но их население так и осталось разобщенным, поделенным по конфессиональным, этническим, языковым и региональным критериям. В принципе, именно для решения задачи национальной консолидации понятие нации может быть задействовано сегодня в Ираке: с его помощью можно апеллировать к чувству лояльности новой власти и развивать взаимную солидарность граждан Ирака, преодолевая различия между шиитами и суннитами, курдами и арабами, севером и югом страны⁹³.

В подобных условиях категория «нация» может использоваться и иным способом: не столько для апелляции к «национальной» идентичности, превосходящей этнические, языковые, религиозные и региональные различия, сколько для утверждения «владельческих прав» на то или иное государство «основной» этнокультурной «нации», не тождественной всем гражданам этого государства. Если это удастся, государство определяется (или получает новое определение) как политическое устройство, образованное и принадлежащее «основной нации» и существующее для нее⁹⁴. Так применяют понятие нации, например, хиндустанские националисты, которые стремятся переопределить Индию как государство, основанное хиндустани и существующее для этой этноконфессиональной «нации»⁹⁵. Нет нужды добавлять, что такое использование понятия нации исключает из ее состава мусульман, точно так же как в других обстоятельствах аналогичные заявления о «владельческих правах» на государство от имени «основной» нации, определяемой на основании этнической и культурной принадлежности, исключают другие этнические, конфессиональные, языковые или расовые группы.

В Соединенных Штатах и других относительно устоявшихся, давно существующих национальных государствах «нация» тоже может функционировать как механизм исключения – как, например, в различных движениях в защиту прав «уроженцев Америки» или в риторике современных ультраправых организаций в Европе («*La France oux Français*», «*Deutschland den Deutshchen*»). И все же это понятие может функционировать и совершенно иным способом – как механизм, позволяющий включить людей в новую для них общность⁹⁶. Помимо этого, оно может использоваться для мобилизации взаимной солидарности членов одной «нации», которая определяется достаточно широко, включая в свой состав всех граждан данного государства, а возможно, также и лиц, не являющихся гражданами, но достаточно давно проживающих на его территории. В этом смысле обращение к понятию нации является попыткой преодоления или по крайней мере сглаживания внутренних различий; попыткой добиться того, чтобы люди видели себя как представители этой нации, определяли самих себя и свои интересы через нее, а не через принадлежность к какой-то другой общности.

⁹³ С учетом значительности этих различий, которые объединенная оппозиция оккупационным властям способна преодолеть только отчасти и лишь на некоторое время, возможно проще окажется мобилизовать «нацию» на службу националистическому движению, которое выдвигает задачу создания независимой государственности не от имени иракской, но от имени курдской нации. См.: *Wimmer A. Democracy and Ethno-Religious Conflict in Iraq // Survival. 2003. № 45 (5). P. 111–134.*

⁹⁴ *Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, 1996. P. 83 ff.*

⁹⁵ *Van der Veer P. Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India. Berkeley, CA, 1994.*

⁹⁶ Некоторые наблюдатели утверждают, что не существует никакой американской «нации» – никакого населения американской «национальности», определяемой принадлежностью к общей культуре. Существует американское государство, американские граждане, но не американская нация. С этой точки зрения Соединенные Штаты отличаются от европейских национальных государств – строго говоря, США – вовсе не национальное, а многонациональное или ненациональное государство. Другие исследователи утверждают, что Америка – национальное государство со своей отличной от других национальностью, понимаемой в категориях культуры. См.: *Hollinger D.A. Postethnic America: Beyond Multiculturalism. N.Y., 1995; Lind M. The Next American Nation: The New Nationalism and the Fourth American Revolution. N.Y., 1995.* Если мы согласимся с тем, что национальность – это не этнодемографическая или этнокультурная данность, а политическое заявление, то вопросы о том, какой из этих взглядов правильный, существует или нет на самом деле американская национальность, теряют смысл. Лучше спросить, каким образом требования признания американской национальности – или отрицание справедливости этих требований – работают в политических дискуссиях.

сти. Апеллирование к нации может оказаться крайне эффективным риторическим приемом, хотя и не во всех обстоятельствах.

Американские специалисты в области социальных и гуманитарных наук в целом рассматривают обращение к чувству национальной принадлежности скептически и даже враждебно. Часто они считают это чувство устаревшим и наивным, проявлением ограниченности, противостоящей прогрессу, видят в нем опасную тенденцию. Многие представители этих наук с подозрением относятся к самому понятию нации. Мало кто из американских ученых любит размахивать флагом своей страны, многие из нас с подозрением относятся к таким ура-патриотам. Часто для этого есть все основания, поскольку ура-патриотизм давно ассоциируется с нетерпимостью, ксенофобией и милитаризмом, с непомерно раздутой национальной гордостью и агрессивной внешней политикой. Самые страшные преступления и множество меньших грехов совершались и продолжают совершаться во имя нации – и не просто во имя «этнических» наций, но и во имя наций, которые принято считать «гражданскими»⁹⁷. Однако все сказанное не может до конца объяснить преобладающее отрицательное отношение к нации. Страшные преступления и множество меньших грехов совершались и продолжают совершаться также и во имя разных других «воображаемых сообществ» – во имя государства, расы, этнической группы, класса, партии или религии. Помимо ощущения, что национализм представляет опасность, что он тесно связан с некоторыми из величайших зол нашего времени, ощущения, что национализм является «самым страшным политическим позором XX века» (определение Джона Данна⁹⁸), обращение к понятию нации вызывает также сомнения более общего характера. Они связаны с тем, что – как принято считать – мы вступили в постнациональную эпоху. Отсюда возникает ощущение, что, как бы хорошо ни была приспособлена категория «нации» к экономическим, политическим и культурным реалиям XIX века, она все меньше соответствует реалиям сегодняшнего дня. Поэтому нация по самой своей сути является анахронизмом, а апеллирование к нации, даже если оно не опасно само по себе, не соответствует основным принципам, которые определяют жизнь современного общества⁹⁹.

Такая «постнациональная» позиция сочетает заявления, основанные на эмпирических наблюдениях, методологическую критику и доводы нормативного характера. Я по очереди остановлюсь на каждом из этих пунктов. Утверждения, основанные на эмпирических фактах, подчеркивают сокращение потенциала и падение значимости национального государства. Считается, что под воздействием беспрецедентной циркуляции людей, товаров, информации, образов, идей и культурных ценностей национальное государство все более и более утрачивает способность «держат в клетке»¹⁰⁰ социальную, экономическую, культурную и политическую жизнь, определять ее и управлять ею. Национальное государство будто бы потеряло способность контролировать свои границы, регулировать свою экономику, формировать свою культуру, решать множество проблем на своих границах и привлекать к себе сердца и умы граждан.

Я считаю, что это утверждение носит чрезмерно преувеличенный характер, и не только потому, что события и сентябрь пробудили к жизни воинствующие государственнические

⁹⁷ Mann M. *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge, 2004.

⁹⁸ Dunn J. *Western Political Theory in the Face of the Future*. Cambridge, 1979. P. 55.

⁹⁹ Из обширной литературы по этому вопросу см.: *Kearney M. Borders and Boundaries of State and Self at the End of Empire // Journal of Historical Sociology*. 1991. № 4 (1). P. 52–74; *Soysal Y.N. Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe*. Chicago, 111., 1994; *Habermas J. The European Nation-State – Its Achievements and Its Limits: On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship // Mapping the Nation / Ed. by G. Balakrishnan*. London, 1996; *Appardurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis, MN, 1996.

¹⁰⁰ Mann M. *The Sources of Social Power: The Rise of Classes and National-States, 1760–1914*. Cambridge, 1993. P. 61.

настроения¹⁰¹. Даже Европейский союз, занимающий центральное положение в значительной части работ о «постнационализме», не является последовательным, безоговорочным движением по пути «преодоления национального государства». Как показывает Милуорд¹⁰², первые осторожные шаги в сторону наднациональной власти в Европе предпринимались с целью восстановить и укрепить власть национального государства – и действительно этому способствовали. Масштабное же переустройство политического пространства по национальному признаку в Центральной и Восточной Европе на исходе холодной войны показывает, что вместо продвижения по пути преодоления национального государства многие области Европы сделали шаг назад, в сторону национального государства¹⁰³. «Короткий XX век» закончился во многом так же, как и начинался: Центральная и Восточная Европа вступили не в постнациональную, а в постмногонациональную эпоху благодаря масштабной национализации ранее многонационального политического пространства. Конечно, статус нации остается универсальным средством легитимации государства.

Можно ли говорить о «беспрецедентной пористости» границ, как это было сформулировано в одной недавно опубликованной книге?¹⁰⁴ В некоторых отношениях – возможно, да, но в других, особенно в том, что касается перемещения людей, это не так: социальные технологии пограничного контроля продолжают развиваться. Нельзя говорить о том, что государство в целом утрачивает контроль за своими границами. На самом деле в минувшем столетии возобладала противоположная тенденция: со стороны государств стали применяться все более сложные технологии установления личности, полицейского надзора и контроля, начиная с паспортов и виз и кончая появлением сводных баз данных и кодированием биометрических характеристик. Во всем мире беднейшие слои населения, стремящиеся улучшить свое положение с помощью международной миграции, сталкиваются с гораздо более развитыми и жесткими мерами государственного регулирования – по сравнению с теми, что существовали сто лет назад¹⁰⁵. Действительно ли миграция сегодня достигла совершенно беспрецедентных масштабов по количеству людей и скорости их перемещения, как это часто утверждается? На самом деле это совершенно не так: сравнив показатели на душу населения, мы увидим, что сто лет назад приток иммигрантов в Соединенные Штаты был значительно больше, чем в последние десятилетия, а миграционные потоки во всем мире сегодня «в целом несколько менее интенсивны», чем в конце XIX – начале XX века¹⁰⁶. Поддерживают ли сегодняшние мигранты связи с теми странами, откуда они прибыли? Конечно же да. Однако они умудрялись это делать и сто лет назад, без электронной почты и дешевой телефонной связи. Вопреки мнению теоретиков постнационализма, отнюдь не очевидно, что те способы, при помощи которых мигранты поддерживают связи со своей родиной, знаменуют преодоление границ национального государства¹⁰⁷. Действительно ли глобализация, вызванная современным развитием капитализма, уменьшает возможности государства регулировать экономику? Несомненно, да. И все же в других областях, даже тех, которые ранее счи-

¹⁰¹ Критику этой позиции, подчеркивающей упадок национального государства, см.: *Mann M.* Has Globalization Ended the Rise of the Nation-State? // *Review of International Political Economy*. 1997. № 4 (3). P. 472–496.

¹⁰² *Milward A.S.* The European Rescue of the Nation-State. Berkeley, CA, 1992.

¹⁰³ Дальнейшее развитие этого тезиса см.: *Brubaker R.* Op. cit. P. 1–3.

¹⁰⁴ *Sheffer G.* Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge, 2003. P. 22.

¹⁰⁵ *Hirst P., Thompson G.* Globalization in Question / 2nd ed. Cambridge, 1999. P. 30–31, 267.

¹⁰⁶ *Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J.* Global Transformations: Politics, Economics, and Culture. Stanford, CA, 1999. P. 326.

¹⁰⁷ См., например: *Hollinger D.A.* Op. cit. P. 151 ff; *Waldinger R., Fitzgerald D.* Transnationalism in Question. 2003 (рукопись); *Koopmans R., Statham P.* Challenging the Liberal Nation-State? Postnationalism, Multiculturalism, and the Collective Claims Making of Migrants and Ethnic Minorities in Britain and Germany // *American Journal of Sociology*. 1999. № 105 (3). P. 652–692.

тались сферой частной жизни, вмешательство и контроль государства скорее усиливаются, нежели ослабевают¹⁰⁸.

Концептуальная критика «постнационалистов» заключается в обвинении общественных наук в застарелом «методологическом национализме»¹⁰⁹, под которым понимается тенденция рассматривать «национальное государство» как эквивалент «общества» и уделять внимание преимущественно структурам и процессам, ограниченным его рамками. При этом из поля зрения выпадают глобальные или иные ненациональные процессы и структуры, для которых не существует государственных границ. Конечно же, эти упреки, даже преувеличенные, игнорирующие исследования отдельных историков и специалистов в области социальных наук, посвященные трансграничным контактам и обменам, во многом справедливы. Но что следует из этой критики? Прекрасно, если она стимулирует изучение социальных процессов, протекающих на самых разных уровнях, помимо уровня национального государства. Но если методологическая критика сочетается, как это часто бывает, с эмпирически конструируемым утверждением о том, что значимость национального государства падает, и если тем самым наше внимание отвлекается от процессов и структур, происходящих на уровне национального государства, то мы рискуем, погнавшись за модной в науке тенденцией, пренебречь тем, что по-прежнему остается – как бы мы к этому ни относились – основным уровнем организации общества и местом сосредоточения власти.

Нормативная критика национального государства ведется с двух сторон. Критика сверху – это космополитический аргумент, состоящий в том, что не национальное государство, а все человечество в целом должно определять горизонты наших нравственных побуждений и политической активности¹¹⁰. Критика снизу формируется в рамках исследований мультикультурализма и «политики идентичности». Она утверждает идентичность отдельных групп, ставя ее выше принадлежности к более широким человеческим общностям, охватывающим значительно большее число людей и явлений. Можно провести различие между более и менее радикальными вариантами космополитического аргумента. Более радикальная позиция состоит в том, что нет никаких разумных оснований отдавать предпочтение национальному государству как основному центру, объединяющему вокруг себя людей, сфере взаимной ответственности и тому пространству, с которым связана категория гражданства¹¹¹. Национальное государство с точки зрения морали представляет собой совершенно случайное сообщество людей, поскольку принадлежность к нему определяется тем, в каком месте и в какой семье человеку выпало родиться, т. е. случайными факторами, не связанными с нравственными требованиями. Менее радикальная разновидность аргументов сторонников космополитизма состоит в том, что наша моральная ответственность и преданность нашим политическим идеалам не должны замыкаться в границах национального государства. С последним суждением трудно не согласиться. Независимо от того, насколько открыта для новых людей та или иная нация (к этому вопросу я еще вернусь ниже), она

¹⁰⁸ Mann M. Has Globalization Ended the Rise of the Nation-State? P. 491–492.

¹⁰⁹ Центр по изучению глобального управления, Лондонская школа экономики и политологии. Предварительный отчет о «Семинаре по методологическому национализму», 26–27 июня 2002 года. Текст доступен на сайте: www.lse.ac.uk/Depts/global/Yearbook/methnatreport.htm; Wimmer A., Glick-Schiller N.G. Methodological Nationalism and the Study of Migration // Archives européennes de sociologie. 2002. № 53 (2). P. 217–240.

¹¹⁰ Nussbaum M.C. Patriotism and cosmopolitanism // For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism / Ed. by J. Cohen. Boston, MA, 1996.

¹¹¹ Марта Нуссбаум называет национальность «морально несущественной характеристикой», а национальные границы – «морально произвольными» (см.: Nussbaum M.C. Op. cit. P. 5, 14). Тем не менее неясно, можно ли ее рассуждения отнести к более радикальному варианту космополитического аргумента (см. мое определение в статье), поскольку она считает вполне оправданным особое внимание, уделяемое системой образования США американским традициям, – даже при том, что она утверждает, что образование должно стать более космополитическим (см.: Nussbaum M.C. Cultivating Humanity: A Classical Defence of Reform in Liberal Education. Cambridge, MA, 1997. P. 68).

всегда является, как заметил Бенедикт Андерсон¹¹², ограниченным «воображаемым сообществом». Нация по своей природе замкнута в себе, в своих проблемах, она обладает своими особенностями – и это невозможно изменить. Даже самые непримиримые критики универсализма, безусловно, согласятся с тем, что люди, живущие по ту сторону границы национального государства, имеют некоторое право – просто в силу своей принадлежности к человеческому роду – на наше моральное участие, на нашу политическую активность, а возможно, даже и на наши экономические ресурсы¹¹³.

Другая разновидность нормативной критики национального государства – доводы сторонников мультикультурализма – может принимать различные формы. Одни критикуют национальное государство за его тенденцию к приведению всех и вся к общему знаменателю, что неизбежно влечет за собой подавление культурных различий. Другие утверждают, что даже те государства, которые считаются национальными (в том числе и США), на самом деле вовсе не являются таковыми, а представляют собой многонациональные образования, чьим гражданам, возможно, свойственна общая лояльность по отношению к этому государству – но никак не общая национальная идентичность¹¹⁴. Однако главный вызов национальному государству со стороны сторонников мультикультурализма и политики идентичности состоит не столько в конкретных аргументах, сколько в их общей склонности поощрять и восхвалять разные групповые идентичности, преданность той или иной группе – в ущерб отождествлению себя с государством и преданности ему.

Отвечая как критикам-космополитам, так и критикам-мультикультуралистам, я хотел бы коротко изложить доводы в защиту национализма и патриотизма в современном американском контексте¹¹⁵. Наблюдатели давно отмечают двойственный характер национализма и патриотизма, и я хорошо отдаю себе отчет в их темных сторонах. Как человек, давно занимающийся изучением национализма в Восточной Европе, я, возможно, даже слишком хорошо знаю эту темную сторону и понимаю, что она свойственна национализму и патриотизму не только в Восточной Европе, но и в США. И все же господствующие антинациональные, постнациональные и транснациональные настроения в социальных и гуманитарных науках рискуют заслонить заслуживающие уважения причины, по которым следует поощрять и развивать чувство солидарности, взаимную ответственность и гражданственность на уровне национального государства, по крайней мере в Соединенных Штатах.

Некоторые из тех, кто защищает патриотизм, делают это, проводя различие между патриотизмом и национализмом¹¹⁶. Я не пойду здесь по этому пути, поскольку полагаю, что попытки отличить хороший патриотизм от плохого национализма игнорируют неотъемлемо присущую обоим понятиям двойственность и многоликость. Патриотизм и национализм – не сущности, чья природа установлена раз и навсегда, они представляют собой чрезвычайно

¹¹² Anderson B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* / Rev. ed. London, 1991.

¹¹³ См., например: Walzer M. *Spheres of Justice*. N.Y., 1983. P. 64, 98. Защищая «право на закрытость для посторонних, без которого не было бы никаких сообществ вообще», Вальцер в то же самое время очерчивает границы этого права и устанавливает, какие требования «нуждающихся аутсайдеров» могут считаться законными.

¹¹⁴ Kymlicka W. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford, 1995. P. 11.

¹¹⁵ Здесь я отчасти воспроизвожу доводы историка Дэвида Холлинджера, который красноречиво обосновал значимость национальной солидарности, которая располагается между требованиями, предъявляемыми к человеку этносом, и требованиями человека как биологического вида. См.: Hollinger D.A. *Op. cit.* Некоторые другие критики слева также отстаивают патриотизм и национализм (Reich R.B. *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism*. N.Y., 1992; Lind M. *Op. cit.*; с позиции афроамериканцев: Wilkins R.W. *Jefferson's Pillow: The Founding Fathers and the Dilemma of Black Patriotism*. Boston, MA, 2001), в то время как в ряде работ в области политической теории выдвигаются аргументы в поддержку либерального национализма (Tamir Y. *Liberal Nationalism*. Princeton, NJ, 1993; Miller D. *On Nationality*. Oxford, 1995; Canovan M. *Nationhood and Political Theory*. Cheltenham, 1996). Число последних исследований пока невелико, но оно продолжает расти. Тем не менее эти взгляды пока не являются общепризнанными, по крайней мере среди ученых.

¹¹⁶ См., например: Viroli M. *For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism*. Oxford, 1995. О современных подходах к различению этих понятий см.: Vincent A. *Nationalism and Particularity*. Cambridge, 2002.

гибкий политический язык, способ выражения политических аргументов при помощи апелляции к родине (*patria*), отечеству (*fatherland*), стране, нации. Эти понятия имеют несколько различные коннотации и вызывают разные ассоциации, и поэтому политические языки патриотизма и национализма полностью не совпадают. Однако они в значительной мере пересекаются и могут выполнять необычайное множество задач. Поэтому здесь я хочу рассмотреть их вместе.

Я полагаю, что патриотизм и национализм могут быть полезны в четырех аспектах: способствовать выработке более полнокровных форм гражданства; поддерживать социальные программы, направленные на перераспределение благосостояния в пользу беднейших слоев; помогать интеграции иммигрантов и даже сдерживать развитие агрессивной односторонней внешней политики.

Во-первых, национализм и патриотизм способны мотивировать и поддерживать гражданскую активность населения. Порой высказывается мнение о том, что либеральные демократические государства нуждаются в активных, преданных гражданах, поэтому им нужен патриотизм, чтобы создать и мотивировать таких граждан. Этот довод страдает слабостью, присущей всем аргументам функционального подхода, исходящим из того, что именно «нужно» государствам или гражданам. На самом деле либеральные демократические государства, по всей видимости, в состоянии справиться со своими задачами, несмотря на то что их граждане в основном пассивны и не выказывают особой преданности либеральной демократии. Однако нет никакой необходимости придерживаться функциональной трактовки этого аргумента. Преданные и политически активные граждане, возможно, и не являются насущной необходимостью, однако это не означает, что к такому идеалу гражданства не следует стремиться. Патриотизм может помочь воспитать гражданскую активность, он может вызвать у людей, относящих себя к различным группам с разной идентичностью, чувство солидарности и взаимной ответственности. В формулировке Бенедикта Андерсона нация – это «крепко сплоченное товарищество с горизонтальными связями»¹¹⁷. Отождествление себя со своими братьями по «воображаемому сообществу» может вызвать у человека понимание того, что проблемы этих людей на каком-то уровне являются и его собственными проблемами, за которые он несет особую ответственность¹¹⁸.

Патриотическое чувство отождествления себя со своей страной – ощущение, что это моя страна, мое правительство, – может стать основой для развития чувства ответственности за действия национального правительства, а не отчуждения от этих действий. Ответственность за действия национального правительства, конечно же, не означает обязательного согласия с этим правительством. Она может даже породить такие сильные эмоции, как стыд, ярость, раздражение, которые питают и мотивируют оппозицию правительственной политике. Патриотические побуждения скорее укрепляют, нежели смягчают подобные переживания. Как заметил Ричард Рорти¹¹⁹, «стыдиться поведения своей страны можно лишь в той мере, в какой вы ощущаете эту страну своей»¹²⁰. Патриотические чувства могут стать тем энергетическим зарядом, который подталкивает граждан к участию в политике и поддерживает их политическую активность.

Во-вторых, в условиях современной Америки патриотизм и национализм могут оказать поддержку социальным программам, направленным на перераспределение благосостояния в пользу беднейших слоев. Такая политика требует солидарности между различными

¹¹⁷ *Anderson B.* Op. cit. P. 7.

¹¹⁸ Краткое, но очень красноречивое выражение этой позиции см.: *Taylor C.* Why Democracy Needs Patriotism // *For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism* / Ed. by J. Cohen. Boston, MA, 1996.

¹¹⁹ *Rorty R.* The Unpatriotic Academy // *New York Times*. 1994. February 13.

¹²⁰ *Ibid.* Ср.: «Патриот – это тот, кто первым страдает от стыда за свою страну» (*Appiah K.A.* *Cosmopolitan Patriots* // *Cosmopolitanism: Thinking and Feeling Beyond the Nation* / Ed. by P. Cheah, B. Robbins. Minneapolis, MN, 1998. P. 95).

классами общества и взаимной ответственности, если она претендует на то, чтобы считаться законной. Национализм может формировать эту солидарность и ответственность. Резкий рост социального неравенства за последние десятилетия¹²¹ был вызван множеством причин, далеко не все из которых связаны с социальной политикой. Однако социальная политика вместо того, чтобы противостоять этой тенденции, резко обострила ее. Не случайно это произошло именно тогда, когда левые силы были заняты обсуждением проблем идентичности и культуры и выдвижение вопросов культуры на первый план в политической риторике не позволяло сосредоточиться на решении лежащих в основе роста социального неравенства экономических проблем¹²².

В-третьих, язык национальной принадлежности (nationhood) может помочь интеграции иммигрантов. Критики национализма часто утверждают, что национализм приводит к прямо противоположным результатам, т. е. он исключает людей, отличающихся по своей этнической или культурной принадлежности, а гомогенизирующая логика национального государства не признает особенностей. Однако следует проявлять осторожность и не принимать национализм и национальное государство за материальные сущности. Ни то ни другое не существует вне времени, пространства и обстоятельств. Подобно любой другой концептуальной категории «нация» всегда одновременно и приобщает к определенной группе, и исключает из ее состава. В любые времена людей объединяют в ту или иную группу на основании их принадлежности к одной категории, наделяя признаками, отличающими их от других категорий. Однако общие рассуждения о национализме и нации не содержат ничего особенно любопытного. По-настоящему интересный вопрос заключается в том, каким именно образом понятие нации применяется для того, чтобы включить в свой состав или исключить из него людей в конкретных условиях.

В своем выразительном признании положительных сторон национализма Бенедикт Андерсон отзывался о нациях как о человеческих общностях, «к которым со временем можно приобщиться», поскольку они «основаны на языке, а не на крови». Подобно всем другим высказываниям о национализме в целом это суждение слишком скоропалительно. Оно затушевывает тот факт, что нации «воображаются» очень по-разному, а потому способы приобщения к ним различны. Не только *разные* нации «воображаются» по-разному – *одна и та же* нация «воображается» по-разному в разное время, а часто даже и в одно и то же время, но разными людьми. В некоторых ситуациях под нацией понимают этнокультурное сообщество, не совпадающее с гражданами государства. Когда нация «воображается» таким образом, национализм может стать движением в поддержку собственной исключительности, как внутри страны, так и по отношению к миру за ее пределами, поскольку некоторые ее жители, а возможно, и граждане, будут рассматриваться как чужеродные элементы или даже как враги нации. Конечно, в истории США можно найти множество отвратительных примеров такого рода внутренней обособленности, закрытости, узколобого американизма или ней-

¹²¹ См., например: Reich R.B. Op. cit. А также более позднюю работу: Krugman P. For Richer // New York Times Magazine. 2002. October 20.

¹²² См.: Gitlin T. The Twilight of Common Dreams: Why America is Wracked by Culture Wars. N.Y., 1995: Hollinger D.A. Op. cit.; Lind M. Op. cit.; Barry B. Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge, MA, 2001. Подробное обсуждение и критику этих доводов см.: Banting K., Kymlicka W. Do Multiculturalism Policies Erode the Welfare State? Доклад, представленный на Colloquium Franqui “Cultural Diversities vs. Economic Solidarity”, 2003. Эти авторы не нашли никакого подтверждения существования связи между политикой мультикультурализма и постепенным размыванием основ государства всеобщего благоденствия (welfare state) (хотя они допускают, что такая связь, возможно, и существует в США). Однако, как признают эти авторы, данные, которые они анализировали, не затрагивают проблему взаимоотношений между дискурсом, или риторикой, и поддержкой политики перераспределения благосостояния в обществе. Аргументы, которые я привожу здесь (а также, в какой-то степени, и названные выше авторы), относятся не столько к проводимой политике, сколько к воздействию политического дискурса, т. е. распространенных способов артикулировать требования и определять идентичность.

тивизма¹²³. В целом, однако, американская нация до сих пор представлялась – и лицам, действительно к ней принадлежащим, и ее потенциальным членам – как относительно открытое и доступное для вступления в нее сообщество, во всяком случае более доступное, чем большинство других наций. В этом контексте лирическое определение Андерсона совершенно справедливо. В последние десятилетия американская нация последовательно воспринималась именно таким образом всеми, за исключением политических экстремистов. Это понимание нации, я надеюсь, пережило даже шок и сентябрь. Если большинство «воображает» нацию как общность, к которой можно примкнуть со временем (в действительности за достаточно короткое время), то соответствующий национализм может быть очень полезен для интеграции иммигрантов.

Многие исследователи, занимающиеся в настоящее время проблемами иммиграции, поспорили бы с этим утверждением. Они считают, что иммигранты не ассимилируются в американское общество, а сохраняют свою культуру и идентичность, образуют этнические сообщества, часто имеющие транснациональный характер, и диаспоры. С моей точки зрения, «язык различия», на котором говорят эти ученые, а также многие предприимчивые политики, проблематичен и в его нормативном, и в эмпирическом аспектах. Если говорить в нормативном ключе, то восхваление различий затрудняет артикуляцию общих черт и совместные действия людей, принадлежащих к разным этническим группам. Что касается существующих реалий, то, несмотря на огромную популярность в социальных науках и социальной политике последних десятилетий подхода, подчеркивающего и защищающего этнокультурные различия в обществе, есть доказательства того, что в США ассимиляция иммигрантов продолжается во втором и третьем поколениях, т. е. эти люди по целому ряду показателей все и более и более начинают походить на других американцев¹²⁴.

Наконец, что можно сказать о внешней политике и национальной безопасности? Кажется, что здесь отыскать аргументы в защиту «прогрессивного» патриотизма гораздо сложнее. Некоторые, возможно, согласятся с тем, что патриотизм помогает повысить гражданскую активность, содействует социальным программам, направленным на перераспределение благосостояния в пользу беднейших слоев, способствует интеграции иммигрантов. Тем не менее обращение к идее нации и использование патриотической символики при обсуждении внешней политики и вопросов безопасности страны по-прежнему вызывает неприятие. После событий и сентября, говорят критики «патриотизма» во внешней политике, все слова и эмблемы, связанные с представлением о нации и патриотизмом, стали интерпретироваться в контексте рокового решения характеризовать это нападение на США как «войну», а не «преступление». Следствием такого восприятия стала агрессивная односторонняя внешняя политика, слишком далеко зашедшее противопоставление «нас» и «них», будто бы обусловленное самой «их» сущностью, чрезмерная национальная гордость, чувство собственной непогрешимости и морализаторские, отдающие манихейством разглагольствования о борьбе добра со злом.

Я признаю убедительность этих опасений, даже если они изображают патриотизм после и сентября и несколько односторонне, забывая, что телеканал Fox News не представляет всех патриотично настроенных американцев или даже всех ура-патриотов США. Однако преобладание подобных ассоциаций тем более требует как можно скорее «отбить у них наш флаг», как предлагают некоторые комментаторы¹²⁵; как можно скорее вступить в

¹²³ Higham J. *Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, 1860–1925*. New Brunswick, NJ, 1955; Smith R. *Civic Ideals: Conflicting Visions of Citizenship in U.S. History*. New Haven, CT, 1997. Нейтивизм – движение в защиту прав уроженцев Америки, направленное против иммигрантов. – *Примеч. пер.*

¹²⁴ Alba R., Nee V. *Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration*. Cambridge, MA, 2003

¹²⁵ См., например: Moyers B. *Reclaiming the Flag* // *Rolling Stone*. 2003. May 15. Текст статьи доступен на сайте: http://www.buzzflash.com/contributors/03/o2/28_moyers.html.

борьбу и оспорить условия, на которых сегодня используются символы «нации». Никакой партии не должна быть отдана монополия на язык и иконографию патриотизма, обладающие значительной силой воздействия. Национальный флаг – это чрезвычайно выразительный народный символ, даже если многие интеллектуалы невосприимчивы к его символизму или стесняются его. Силу его влияния на людей, а вместе с ней и право говорить «от имени нации» нельзя уступать тем, кто готов присвоить себе имя «патриота» и при этом назвать патриотичными законодательные акты, которые с тем же успехом можно было бы назвать «непатриотичными» или «неамериканскими» за то, что они ослабляют контроль со стороны судебных органов за исполнительной властью ради сомнительной пользы для национальной безопасности. Критики политических мер, предпринятых администрацией США после сентября, столь же эффективно могут обосновывать свои взгляды патриотизмом. Они также заинтересованы в безопасности своей родины, но понимают безопасность гораздо шире и заинтересованы еще и в сохранении тех свобод – включая и свободу инакомыслия, – которые в какой-то степени определяют Соединенные Штаты как нацию.

Конечно, ответ на вопрос, что именно «определяет нас как нацию», заключается не в голых фактах. Его следует искать в нарративах, создаваемых обществом¹²⁶, в самосознании, которое формируется и меняется под воздействием этих рассказов. Существует богатый репертуар таких историй, в которых заключено наше самосознание, некоторые из них бытуют очень широко, другие – значительно меньше, и степень их распространенности меняется с течением времени. То, «что определяет нас как нацию» в тот или иной момент, – это не более чем временная договоренность в постоянно ведущихся спорах по этому вопросу. Критики современной политики, проводимой от имени нации, должны участвовать в этой дискуссии, они должны рассказывать свои истории и артикулировать свое собственное самосознание.

Те, кого пугает поглощенность частными интересами и пассивность граждан, растущее неравенство и упадок социальной сферы, обособление богатых, чрезмерное подчеркивание этнических и культурных различий, крайности политики идентичности, манихейская риторика и односторонние действия, которыми отличается внешняя политика Америки, должны, казалось бы, приветствовать шаги, направленные на укрепление солидарности, взаимной ответственности и гражданской активности на национальном уровне. Конечно, также желательно культивировать солидарность с более широким миром – расширить границы нашего нравственного соучастия, охватив все население планеты¹²⁷. Но солидарность и идентификация себя со своей нацией также настоятельно нуждаются в культивации. Я говорю не о национальной гордости – ее как раз в Соединенных Штатах в избытке. Я имею в виду солидарность со своими согражданами и ответственность за них, отождествление себя с тем, что делает правительство от имени нации, и ответственность за действия правительства. Чахлая состояние, в котором пребывает американское гражданство, прямо связано со слабостью такой солидарности, активности и ответственности.

Некоторые апостолы постмодернизма, проповедующие благодать одновременного обладания множеством разных гражданств, не считают нужным бить тревогу, видя слабость национального гражданства. Для них она компенсируется все возрастающим разнообразием других гражданств – субнациональных, транснациональных и сверхнациональных. Написано множество работ, посвященных глобальному гражданству, экологическому граждан-

¹²⁶ Somers M.R. The Narrative Constitution of Identity: a Relational and Network Approach // *Theory and Society*. 1994. № 23. P. 605–649, особенно с. 619.

¹²⁷ Действительно, некоторые философы, занимающиеся проблемами этики, полагают, что мы должны еще дальше расширить границы нашего морального сочувствия – выйти не только за рамки нашей нации, но и за рамки нашего биологического вида, применять наши нравственные критерии ко всем животным, чья сложная нервная система позволяет испытывать боль.

ству, экофеминистскому гражданству, этническому гражданству, культурному гражданству, мультикультурному гражданству, диаспорическому гражданству, технологическому гражданству, корпоративному гражданству, производственному гражданству, локальному гражданству и сексуальному гражданству¹²⁸ – и этот список еще не исчерпан. Вся эта пышным цветом расцветающая литература приносит пользу, поскольку привлекает внимание ко многим сферам, определяющим гражданство, как внутри, так и за пределами границ национальных государств. Однако она таит в себе опасность, поскольку не замечает, что национальное государство сохраняет свое значение. В международных делах власть по-прежнему сконцентрирована в национальном государстве, оно – единственный крупный центр власти со сферой общественной жизни и институциональными формами, которые, как бы они ни были несовершенны, допускают в какой-то степени осмысленное и эффективное участие граждан. Поэтому национальное гражданство – и, соответственно, национальные солидарность и патриотизм – нельзя выкидывать на свалку истории.

¹²⁸ Обсуждение многих из этих форм гражданства см.: *Isin E.F., Wood P.K.* Citizenship and Identity. Thousand Oaks, CA, 1999. Последовательное изучение космополитической демократии см.: *Held D.* Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford, CA, 1995. Изучение конкретных ненациональных форм гражданства см. в том числе: *Dobson A.* Citizenship and the Environment. Oxford, 2003; *Evans D.T.* Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities. London, 1993; *Holmwood J., Siltanen J.* Gender, the Professions, and Employment Citizenship // *International Journal of Sociology.* 1994. № 24 (4). P. 43–66; *Kymlicka W.* Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford, 1995; *Laguerre M.S.* Diasporic Citizenship: Haitian Americans in Transnational America. N.Y., 1998; *Pettus K.* Ecofeminist Citizenship // *Hypatia.* 1997. № 12 (4). P. 132–155; *Roche M.* The Olympics and “Global Citizenship” // *Citizenship Studies.* 2002. № 6 (2). P. 165–181; *Smart A., Smart J.* Local Citizenship: Welfare Reform, Urban/Rural Status, and Exclusion in China // *Environment and Planning.* 2001. № 33 (10). P. 1853–1869; *Weis L. et al.* Puerto Rican Men and the Struggle for Place in the United States: An Exploration of Cultural Citizenship, Gender, and Violence // *Men and Masculinities.* 2002. № 4 (3). P. 286–302.

Роджерс Брубейкер, Фредерик Купер За пределами «идентичности»¹²⁹

«Самое худшее, что человек может сделать со словами, – писал Джордж Оруэлл полвека назад, – это сдать на их милость». Если язык является «инструментом для выражения, а не сокрытия или предотвращения мыслей», – продолжал он, необходимо «позволить смыслу выбрать слово, а не наоборот»¹³⁰. Тезис данной статьи состоит в следующем: социальные и гуманитарные науки сдались на милость слова «идентичность» (identity), что влечет интеллектуальные и политические последствия и ввиду чего необходимо найти более удачную исследовательскую альтернативу. Мы утверждаем, что «идентичность» может значить либо слишком много (если термин употреблять в его «сильном» значении), либо слишком мало (в «слабом» значении), либо совсем ничего (в силу неопределенности понятия). Мы рассматриваем сумму концептуальных и теоретических задач, которые должны быть решены с помощью обращения к понятию «идентичность», и приходим к выводу, что эти задачи могут быть более адекватно решены с помощью других понятий, менее двусмысленных и не обремененных опредмечивающими коннотациями «идентичности».

Мы утверждаем, что преобладающее конструктивистское отношение к идентичности – попытка «смягчить» понятие, очистить его от нагрузки эссенциализма, подразумевая, что идентичности создаются, изменяются и множатся, – уничтожает основание для использования понятия «идентичность» вообще и обедняет аналитический аппарат, с помощью которого должен производиться анализ «сильного» значения «идентичности» и разбор эссенциалистских претензий современной политики идентичности. «Мягкий» конструктивизм приводит к умножению мнимых «идентичностей» в научной картине социальной реальности. Но по мере умножения этих «идентичностей» понятие теряет свою аналитическую функцию. Если «идентичность» везде, то ее нет нигде. Если она так пластична и изменчива, то как мы должны изучать процессы фиксации, отвердения и кристаллизации самовосприятия? Если она свободно конструируется, то как мы должны подходить к исследованию процессов приписывания к идентичности, которые порой принимают характер принуждения? Если идентичность множественна, как мы должны понимать встречающиеся факты пугающей однозначности и единственности сценариев идентичности, на воплощение которых работают политики, стремящиеся с помощью категорий язык создавать сплоченные и эксклюзивные группы населения? Как понимать силу и страстность политики идентичностей?

«Идентичность» – ключевое понятие в повседневном словаре современной политики. Социальные науки должны уделить пристальное внимание этому факту. Подобное положение вовсе не обязывает нас использовать «идентичность» в качестве категории анализа или подводить под нее теоретическую базу, представляя «идентичность» как нечто, чем обладают, ищут и что конструируют все люди, или вокруг чего ведутся ключевые споры и борьба. Подводя все разнообразие отношений сходства, сродства и ассоциации, всех форм принадлежности к сообществу, всей мозаики опыта общности, связанности и сплоченности,

¹²⁹ Мы хотели бы поблагодарить Жужу Беренд, Джона Боуэна, Джейн Бурбанк, Маргит Фейшмидт, Йона Фокса, Мару Лавман, Джитку Малечкову, Петера Стаматова, Луайе Бакана, Роджера Уолдингера, а также редакторов журнала *Theory and Society* за ценные комментарии и предложения к первым вариантам статьи. Мы также благодарны Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, где эта статья была задумана в ходе обеденного разговора, и участникам коллоквиума факультета социологии Университета Калифорнии, Лос-Анджелес (UCLA), и семинара «Компаративные исследования социальных трансформаций» в Университете Мичигана, где были представлены первые варианты этой статьи. И последнее слово благодарности – нашим аспирантам, которые благосклонно принимали – но не обязательно соглашались – наши замечания по поводу использования кажущегося незаменимым понятия.

¹³⁰ *Orwell G. A Collection of Essays. N.Y., 1953. P. 169–170.*

всех аспектов самовосприятия и самоидентификации под общий теоретический знаменатель «идентичности», мы тем самым заключаем свой анализ в рамках аналитического языка схематичных, евклидовых и недифференцированных понятий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.